

Книгу М. В. Барков “Я последний солдат империи” С. Ю. Куняеву передал я. По простой причине — мне понравились и книга, и её автор, с которым я познакомился после прочтения книги. И, что интересно, Станислав Юрьевич согласился со мной и по первому пункту после прочтения книги, а после знакомства с автором — и по второму. В результате он принял решение напечатать эту книгу в “Нашем современнике”, при условии, что я напишу предисловие к публикации. Отказаться Станиславу Юрьевичу я не мог.

Но написать предисловие, как оказалось, значительно сложнее, чем я думал. Мой читательский опыт, а другого у меня просто нет, подсказывал мне, что в предисловии я должен показать читателю достоинства произведения так, чтобы он, отложив все свои дела, прочитал книгу от начала до конца. Лично я поступил именно так, и никакого предисловия для этого мне не потребовалось. Поэтому вместо предисловия я постараюсь написать о том, что я ощущал, читая эту книгу.

Я не берусь оценивать эту книгу с точки зрения её соответствия каким-то писательским правилам и стандартам, я их просто не знаю. Что касается художественных достоинств книги, какое-то своё мнение у меня есть, но высказывать его я не рискую, поскольку необходимого опыта и знаний у меня для этого нет. Но, начав читать эту книгу, я почувствовал, что она написана не головой, а сердцем. Сейчас, написав это, я вспомнил писателя-сатирика Александра Иванова. На своём творческом вечере, на котором мне довелось присутствовать, он рассказывал, что писать в рифму совсем не трудно, и он мог бы обучить этому любого за пару часов. Но поэтами, говорил он, вы не станете, потому что у поэта рифма идёт из сердца.

И ещё одна история-прикол, рассказанная Ивановым в тот вечер. Отчитывается председатель тульской писательской организации. Рассказывает, как много книг написали писатели этой организации, как увеличилась её численность. А вот раньше, говорит он, в нашей организации было только два писателя — Лев Толстой и Иван Тургенев. Дипломов об окончании Литературного института у них не было, писали, как могли, на работу по литературной части в наше время их бы не приняли. М. В. Барков, несмотря на литературную фамилию, диплома об окончании Литературного института тоже не имеет, что не помешало ему написать книгу, взяв которую в руки, мне захотелось дочитать её до конца.

Повторюсь, я не готов оценивать литературные достоинства и недостатки книги, но хотел бы поговорить об авторе. Если у читателя появится интерес к автору, то появится интерес и к его книге. На вопрос, о чём же эта книга, я бы ответил так. Эта книга о том, как мальчик превращается в юношу, юноша — в мужчину, мужчина — в гражданина, гражданин — в патриота своей страны. И всей своей жизнью он доказывает, что Родина для него — понятие не только географическое.

М. В. Барков — человек непростой и интересной судьбы. Что-то о своей жизни он пишет сам, о чём-то мы можем догадываться, читая между строк. И тут возникает вопрос: судьба выбирала и испытывала его на прочность, или это он сам выбрал свою судьбу? Его книга даёт однозначный ответ — свою судьбу он выбрал сам и всей своей жизнью показал и продолжает показывать, что он этой судьбы достоин.

Надо сказать, что наследственностью природа его не обидела. Крестьянские и аристократические корни предков напитали его интеллектуальными

и физическими силами, что и позволило ему преодолеть трудности, которые возникали на его жизненном пути. Связь с предками, любовь к корням – это его натура. Не знаю, осознанно или просто потому, что он любит эту работу, М. В. Барков дал жизнь 6 законным сыновьям. Это значит, что его корни дали новые победы, которые, будем надеяться, принесут хорошие плоды. Порадуемся за человека и за страну, настоящие мужики у нас в дефиците.

Нельзя не отметить ещё одну линию, ярко представленную в книге. Это линия мужской дружбы. Вспомнил, как один мой знакомый жаловался на жизнь. Знаешь, говорит, самая страшная в жизни вещь, когда есть, что выпить, а выпить не с кем. Сказано это было в порядке шутки, но, по правде говоря, это совсем не шутка. Времена, когда мы приходили к друзьям без звонка, прихватив с собой бутылку, давно прошли. И не потому, что мы стали старше. Поменялось время, поменялись мы. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Михаилу Викторовичу можно только позавидовать, по жизни ему везло на друзей. Хотя слово “везло” здесь не совсем правильное. Он умеет дружить, его друзья это понимают и ценят.

Наша жизнь устроена так, что хорошего без плохого не бывает. Хорошее – это дружба, плохое – это предательство. Бывает, что предают друзья, женщины, коллеги, предают умышленно или по недоразумению. Иногда это можно понять, простить, что-то поправить. Но бывают предательства, которые, ни понять, ни исправить невозможно. Таким является предательство Горбачёва. В том, что это было предательством, М. В. Барков убеждён. Его убеждённость построена на информации, полученной от человека, условно он называет его Джонсоном, который был свидетелем того, как Горбачёв сдавал страну, президентом которой он был.

Ещё в 1979 году на вопрос западных экспертов, где находится самое уязвимое место в советской системе, А. А. Зиновьев ответил, что самое слабое место то, которое около самих советские люди считают самым надёжным, а именно – в аппарате ЦК КПСС, в Политбюро, в персоне Генерального Секретаря ЦК КПСС. Проведите своего человека в Генсеки, то есть захватите эту ключевую позицию, и вы захватите всё советское общество. Начнётся цепная реакция развала. Генсек развалит Политбюро и с его помощью – весь ЦК. Это приведёт к распаду всей системы государственности, а развал последней – к развалу всей страны. Думая, что появление прозападного человека на посту Генсека практически невозможно, слова Зиновьева приняли тогда за шутку. В мае-июне 1990 года на переговоры в Вашингтон прилетел Горбачёв.

“По существовавшим в Союзе гласным и негласным жёстким правилам Горбачёв не мог оставаться с американцами наедине без сопровождения нашими сотрудниками. Горбачёв оставался, в том числе на базе Эндрюс. Что там происходило, наши не знали, словам Горбачёва уже тогда верить было абсолютно нельзя. А Джонсон знал. Я запоминал и записывал потом эти сведения. Если кратко, то именно тогда, на Эндрюс и в Вашингтоне, со слов Джонсона, были оговорены и подтверждены материальные гарантии под предательство Горбачёва и компенсации ему, если что-то пойдёт не так. Оттуда “растут”, со слов Джонсона, и Нобелевская премия, и финансирование Горбачёв-фонда с численностью почти в тысячу человек, и лекционная карусель, и виллы, и лечение, и содержание. Параметры 30 сребреников были определены тогда и там, детали потом дорабатывались на более поздних встречах с лидерами Запада”.

Сказать такое – означает рисковать не только карьерой, но и головой. Но Барков это сказал. Сказал потому, что боль за развал страны у него, гражданина и патриота, остаётся до сих пор. А чтобы понять, как такими людьми становятся, надо прочитать его книгу “Я последний солдат империи”. Что мне в книге не понравилось, так это название. Я лично увидел в книге не солдата, а бойца, что не одно и то же. И почему последний? М. В. Барков – бывший авиатор, а в авиации слово “последний” находится под запретом. Поэтому, боец Барков, ждем от вас очередного выстрела, не последнего.

Я — ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ...

Друзьям

У каждого человека есть круг людей в прошлом и настоящем, кому он не безразличен уже только потому, что он есть и он был в их жизни. Плохой ли, хороший, сильный или слабый, красивый или так себе, интересный или заурядный — он свой. Вот и я — часть вашей жизни, а вы — моей.

Как и каждый из каждого поколения, я прожил непростую, но в чём-то и особенную жизнь. Все основные вехи человеческой судьбы не прошли мимо меня. Я не был обделён родительской любовью и настоящей, дружной роднёй, женщинами, интересными людьми и событиями, всеми основными радостями и печалью человека, живущего на нашей Земле. Побывал в самых разных местах этой беспечной планеты, замерзал в Заполярье, мучился от жары в тропиках, пересекал океаны и экватор. Побывал на войне, слава Богу, чужой. Война — худшее, что бродит в человеческой натуре.

Но — не самое. Самое худшее, на мой взгляд, это предательство. Возможно, я считаю так потому, что мне выпало жить в эпоху предательства. Меня, как и любого живущего, предавали какие-то приятели, женщины, сослуживцы, коллеги, политики. Предавали командиры. Один из самых уважаемых мною учителей говорил: предательство командира особенно тяжкое, оно — предательство идеологии, миропонимания, которому веришь и служишь.

Но. Меня никогда не предавали друзья. Не думаю, что повезло, так должно быть.

Вот вам, дорогие мои, и посвящаю эти воспоминания — разговор о прошлом, свидетелем и участником которого я был. Это не мемуары, не нравится мне ни слово, ни понятие, за ним стоящее, это разговор по случаю исполнения моего давнего обещания. Надеюсь, что чужие, равнодушные глаза и мысли не потревожат этих страниц. Впрочем, это неважно.

Не отвечаю ни за интересность, ни за художественность, я не профессионал в литературе, кроме, пожалуй, одного: искренности. Правда, и она девушка-ка ветреная, не угодишь. Но вы меня, уверен, поймёте и, где надо, простите.

* * *

Оговорюсь, к художественной прозе с возрастом стал относиться скептически. За исключением вещей гениальных, написанных гениями, остальное — ремесло. Есть набор приёмов и способов, которыми человек более-менее одарённый может заинтересовать читателя. Заинтересуется, прочтёт и — забудет. Те же электронные игры, те же клавиши человеческих слабостей и грехов, только в классической технике исполнения.

Также и в музыке. Включаю в машине какое-нибудь песенное радио и, обладая музыкальным слухом и памятью, слышу в каждом новом шлягере новые вариации на старые напевы. Редко что-то свежее, неизбитое промелькнёт. Тем более, с рифмами. На спор легко угадывал рифмованное слово или слова по предшествующей строчке. Исписались поэты и композиторы, а может, просто я становлюсь старым.

Так вот, стоящая проза в моём понимании, — историко-публицистическая, документальная, взгляд очевидца, свидетеля. Да, он всё равно субъективен, но это часть реальной мозаики жизни, а не высосанный из пальца мир. Впрочем, кому-то мифы как раз и нужны, чтобы спрятаться от реальности.

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...*

Да, это гений, это — Пушкин.

В общем, то, над чем я работаю, когда ещё будет, да и будет ли. А тут — пробежаться по прожитой жизни. Тем более, что жизнь-то была не обычная. Да, каждая жизнь единственная и неповторимая, но согласитесь (тут я начну хвастаться), несколько самых престижных образований, пребывание на всех этапах власти, кроме, конечно, первого, в топовом бизнесе, в более чем в сотне стран — не просто. И всё это, как я уже говорил, не благодаря, а вопреки.

Поразмышляв таким образом, я пришёл к очевидному выводу: я — свидетель. Свидетель своего времени, людей, событий. И пусть это будет всё равно субъективно, кто-то станет складывать эти мозаики, чтобы представить реальную картину истории, а не такую, какую кому-то надо сейчас, а кому-то понадобится завтра.

Тем более, что я на своём опыте убедился, что даже на моём веку — миг для истории, — даже тогда, когда ещё не остыли камни и не улеглась пыль, её величество историческая ложь вчиняется с умным и уважаемым видом зелёной человеческой поросли. Но я-то видел, я-то знал, я же читал документы, более того, я где-то и составлял их.

Так что, раз уж вы сподвигли меня, то я немного повспоминаю и поразмышляю. Как свидетель. Надеюсь, что что-то вам будет любопытно. Во всяком случае, должно быть любопытно моим шестерым сыновьям. Надеюсь.

* * *

У меня смешанное происхождение, что для нашей взбаламученной революциями страны не редкость. По материнской линии — из так называемых бывших. Мелкопоместные дворяне, в том числе украинские, и старая русская, дворянская интеллигенция. А по линии отца — во многих поколениях крестьяне коломенской земли Подмосковья. И теми, и другими я в равной мере горжусь.

Мама моя, будучи примерной комсомолкой, о классово неудобных предках знала меньше, а вот её старшая сестра, моя тётя Мила, знала и хранила многое. Она ещё застала людей империи, и ей эта тема была ближе. Ещё кое-что, не всегда охотно, рассказывала моя питерская бабушка Людмила, а муж её, мой дед Николай, тему нашего происхождения не жаловал.

Так вот, по материнской линии было много интересных имён, чьи могилки разбросаны по кладбищам Ленинграда — Петербурга, в том числе и в Лавре. Были в родне и какие-то немцы, а судя по рассказам бабушки Людмилы об одном черноглазом и черноволосом прадеде, был и Восток.

Вот в отцовской подмосковной линии, судя по памяти моей, по сохранившимся фото — до четвёртого поколения рослые славяне с продолговатыми лицами, крупными прямыми носами и светлыми волосами и глазами. Прямо немцы, как их описывал “ариец” Гиммлер, не обладавший ни одним из этих признаков. Годы спустя, попав в Германию и наблюдая на улицах Берлина мелковатых брюнетов и страшноватеньких в массе своей немков, я подумал, что в селе Андреевском под Коломной арийцев-то поболее будет.

В общем, я типичный русский и принадлежу, как говорил, не к ночи будь помянут, бывший директор ЦРУ Аллен Даллес, к самому непокорному на земле народу.

К чему я это говорю? Да к тому, что мы уникальный народ, к которому никогда по-серьёзному не прилипнут национализм и т. п. “измы”. Ладно, к этой теме я ещё вернусь, поехали дальше.

Как говорили классики, писать я начал рано (не путайте ударение, впрочем, посмеяться можно). По жизни это желание возникало, пропадало и возвращалось снова. Конечно, это было, прежде всего, в юности, в местах, которые называют малой родиной. Среди людей, которые выводили в жизнь. С ними, особенно с бабушками и дедушками, мне роскошно повезло. Ленинград, Питер — одна из двух моих малых родин, где я, собственно, и родился, и провёл начальные годы жизни. Там, как я уже говорил, мои предки на Смоленском, на Волковом, на Пискаревском кладбищах и в самой Лавре. Питерский дед Николай, офицер, знал пять языков, бабушка Людмила — смолянка, врач, в гражданскую войну скрывала это и стала учительницей немецкого и французского. Выжили они в кровавой смуте революции и гражданской войны чудом. Как говорила бабушка, кто-то должен был выжить.

Деду Николаю после тяжёлого ранения в 1915 году врачи прочили прожить лет до 40. Сам он с усмешкой в моём раннем детстве описал это так. Роту поднимал в атаку, слишком громко орал: “Ура!” — вот немцы и услышали, а пуля-дура и залетела в рот.

Пуля, а это была разрывная пуля “дум-дум”, — проклятие той войны — снесла деду полчелюсти, вырвала сзади часть шеи с кусками позвонков. Спасло только то, что солдатики бегом под огнём донесли умирающего ротоного в санчасть неподалёку, да хирург попался Пироговской школы. Уцелел чудом фельдшерский листок с поля боя, на котором ржавые капельки дедовой крови. Потом госпитали, дороги, тыл, Кострома. Бабушка, девчонка ещё была, восемнадцати лет, узнав, сорвалась к нему в Кострому, выхаживала и его, и других раненых. Сохранилось их фото: молодые светлые лица, она надела его зимнюю форму, он — в летней, два красивых поручика. А впереди была бездна.

Деда дважды расстреливали, но в последний момент случилось чудо. В ту самую, первую мировую, у непьющего деда был денщик, которому он отдавал свою водку и не замечал, когда тот залезал в его продпаёк. Дед не был кадровым офицером и на фронт ушёл добровольцем, возможно, отсюда и его отношение к солдатам. Когда в 1917-м по фронту, куда дед, вопреки мнению врачей, вернулся, прокатилась волна расстрелов офицеров, его денщик, ставший членом солдатского комитета, вступился за деда, уже поставленного к стенке. Правильный, мол, поручик, солдат не обижал. Отвели деда в сторону.

А дедов сослуживец, поручик N, погиб. Вёл он себя дерзко, не стеснялся в выражениях и с издевательской усмешкой говорил: “Не расстреляете!” Когда его поставили под стволы и активист поднял руку, поручик ещё раз обозначил непечатно, с кем имеет дело, достал из рукава маленький трофейный браунинг и выстрелил себе в висок. Царство тебе Небесное, поручик N.

Дед, со слов бабушки, всю жизнь с переживанием относился к этому эпизоду своей молодости. Мне он об этом не говорил и, как и многие фронтовики, в том числе и уже происшедшей позднее Отечественной, о войне говорить не любил. Я эти обрывки его памяти черпал от бабушки, а больше от моей тёти Милы. Она была намного старше моей матери, и ей были ближе отблески империи. Мама была уже современной, советской, и я иногда замечал в их отношениях не понятный мне холодок. Разлом прошёл по семьям, по поколениям и, казалось, разъединил хрупкий мостик памяти.

Но не совсем. Тяга к предкам, к корням проснулась во мне, лобастом белобрысом пионере, который, как помню, с восторгом говорил матери: “Мама, так ты же у нас настоящая дворянка!” А она прикладывала палец к губам: не говори этого, не надо вспоминать, всё прошло. А я всё равно копался в питерских корнях, узнав, например, от той же тёти, что декабрист Рылеев — наша родня, и винозаводчики Смирновы — тоже, что прадед был награждён перстнем с руки императора, а на Старом Невском у нас был дом.

Тётя рассказывала, а я представлял, как мой прадед ужинал с императором. По завершении они облобызались, император снял со своей руки бриллиантовое кольцо и надел на руку прадеда. В моём воображении всё рисовалось каким-то фантастическим, сказочно наивным.

А дальше — о, горе и о, чудо! Лет пятнадцать спустя, когда сказки начали забываться, тётя была при смерти, и я приехал к ней в Запорожье. Взяв с меня клятву беречь память предков, она вручила мне, уже взрослому мужику, пожелтевший от времени батистовый платочек с вышитой надписью Nice, France, в который был завернут тот самый перстень.

Он оказался несравненно лучше моих фантазий. Тяжёлый, чуть постаревшее золото, круг из десяти бриллиантов, а в центре из алмазных осколков составленный вензель императора. Много позже я дал его посмотреть другу с Лубянки, одному из лучших экспертов Конторы. Он, скупой на эмоции, сказал, что бриллианты такой чистоты ему почти не попадались.

К чему я это всё. Не из лести, конечно, к себе, любимому: вот, мол, я какой и что у меня есть! Знающие меня поймут. Эти осколки памяти – осколочки истории великой страны, которая, знаю, дорога и вам и, надеюсь, будет дорога и моим сыновьям, к одному из которых этот перстень и перешёл. А от него – внукам и внукам внуков. “Ничто на земле не проходит бесследно...” Не должно проходить.

Но суть этой истории в другом. Летом 1918 года бабушка Людмила бежала из революционного Петрограда в Москву поездом. Туда же пробирался изгнанный из армии дед Николай. По поездкам ходили проверяющие с винтовками и от них откупались какой-то мелочью. Но вдруг по вагонам пронеслось – бандиты. Просто идут и грабят всё, что у кого есть.

У бабушки был ларец с семейными драгоценностями, замотанный в обычный узел. Она открыла окно и, улучив момент, бросила его в речку. Было это, не доезжая до Бологого. Река, судя по описаниям, или Валдайка, или Березайка. Искать, конечно, глупо, хотя порывы были. Когда в студенчестве увлёкся водным спортом, то не раз бывал рядом на реке Мете и понял, что ничего из этого не выйдет.

Но самое ценное, с точки зрения памяти, включая перстень, было ещё в Петрограде зашито бабушкой в одежду. Так же поступили великие княжны и императрица в последние месяцы своей жизни. Революционная бандота, отобрав носильные вещи, обыскивать не стала. Встретились с дедом уже осенью холодные, голодные, без денег, но в одежде памяти. Потом – скитания по разорённой, голодной, окровавленной стране.

Деда очередная комиссия признаёт контрой и ставит к стенке где-то под Симбирском. Бабушка, висевшая у него на рукаве, вдруг видит в одном из комиссаров хорошего знакомого по Питеру, ходившего на балы к смолянкам. Она бросается к нему: Серж! Это же мой Николенька! Николеньку отводят в сторону. Кто-то должен был выжить.

Потом, в двадцатые годы – скитания по Поволжью и страшный голод, когда люди ели друг друга, а собаки и вороньё стали упитанными, как никогда. То, что они не выменяли перстень и ещё ряд памятных вещей на хлеб, чтобы выжить, сложно понять. Это – запредельно. То немного, что у них оставалось, потом перешло к моей маме и к старшей дочери, а вот от неё ко мне и к брату. Одна из этих вещей всё-таки пропала. Венчальные бриллиантовые серёжки прабабушки, ещё дореформенные, без клейм, ювелиры поймут. Молодой, глупый, влюблённый идиот подарил их какой-то женщине. Этим идиотом был я. Не прощаю себе этого. Кто знает, может поэтому у меня одни сыновья, а очень хотелось бы дочку.

История с перстнем имела продолжение. В один из моих приездов в Питер мой ленинградский дядя Андрей, уже старый, безнадежно больной, показал мне часть бумаг из своего архива. Среди них меня ждала нечаянная радость: послужной формуляр моего прадеда. Там перечислялись продвижения по службе, поощрения (взысканий не было) и награды. И в том числе – награждение прадеда императорским перстнем! Сохранение в российских бурях такого перстня – уже чудо, а наличие официальных бумаг о таком награждении – чудо вдвойне. Дядя, увидев мой восторг, был поражён не меньше: он и не подозревал, что перстень цел, что находится у меня, ибо его наличие моя тётя тщательно скрывала от всех, даже от близких людей.

Дядя взял с меня слово, и я через пару недель вернулся в Питер уже с перстнем. Дядя уже не вставал. Умиравший старик держал перстень в дрожащих жёлтых пальцах и плакал. Это был мужественный, чрезвычайно эрудированный ленинградец-петербуржец, с которым ушла и частичка истории города – он знал её великолепно, не официальную, а изустную. Что-то я помню, а что-то уже затерялось под грузом дел и перегруженной памяти. Надо было записывать, но... Нам надо учиться и учиться уважать стариков и использовать их память, их опыт, их жизнь.

Формуляр, ещё ряд документов и старых книг по завещанию дяди мне передала его супруга, моя тётя Светлана. Круг с перстнем замкнулся, и началась

его новая история, которая, к моему сожалению, я очень бы хотел ошибиться, но... видимо, будет ещё более суровой. Я не вижу, чтобы люди на нашей, терзаемой войнами планете делали какие-то серьёзные выводы из своей истории, истории жизни на Земле.

В 1919 году деда Николая опять арестовывают красные, но к стенке не ставят, а отправляют... на курсы перевоспитания царских офицеров. На переломе гражданской войны красные сменили отношение к офицерскому корпусу: он был нужен. В истории революции и гражданской войны меня всегда поражало гениальное умение большевиков приспосабливаться к реальным историческим условиям ради достижения своей цели. Можно что угодно говорить о них и об их лидерах, но фактом остаётся следующее: самое жестокое, но и самое точное голосование гражданской войной показало, что народ принял их сторону. И Учредительное собрание, и другие попытки легитимизации власти – ничто по сравнению с ходом и результатом гражданской войны.

Менялось и отношение офицерства к войне, к ситуации в стране. Дед как-то обмолвился мне, уже студенту, что среди своего брата офицеров росло понимание того, что народ на стороне красных. И кто бы что ни говорил о праве и демократии, но одно из самых жестоких и точных волеизъявлений народа – гражданская война. И это “голосование” осталось за красными. И дед был не то, что не одинок в этих своих рассуждениях, а среди тысяч таких же, как он, принявших сторону народа. Другое дело, как этой волей народа потом распорядились...

Это не слишком упоминается, не соответствует многим шаблонам, но на переломе гражданской войны количество офицеров царской армии у белых и у красных было примерно поровну, где-то по 100 тысяч человек. Конечно, это сказалось и на результатах войны.

В 1922 году дед демобилизовался. И ещё один любопытный штрих. Дед, как я упоминал, был убеждённым монархистом, но при имени императора Николая II хмурился. У него, как и у многих ему подобных рабочих войны, была некая глубинная обида на императора, по сути, бросившего и свою армию, и свой народ. Трагичность судьбы императора заслоняет эту тему, но будь его британский родственничек поменьше Иудой (что для них традиционно), жил бы царь небедно в изгнании и писал мемуары. И носил бы он не мученический нимб, а горбачёвский венок из смятых валютных купюр. Как рассказывала бабушка Людмила, еще в гражданскую дед Николай говорил: всё равно будет царь, только красный, тогда Россия уцелеет. Так потом и вышло. Это же, кстати, задолго до возвышения Сталина говорил Василий Витальевич Шульгин, принявший отречение Николая II.

Где-то в 1929-1930 годах, во время операции “Весна” по уничтожению царского офицерства деда Николая вновь арестовали. По рассказу тётки Милы, дед не скрывал своих монархических убеждений, полагая, что в России должна быть сильная единоначальная власть. Следователь дотошно копался именно в политических убеждениях. Через месяц его и ещё нескольких офицеров выпустили. Октябристов, кадетов – расстреляли. Дед считал, что была некая установка, исходившая, возможно, от Сталина. А может, и следователь тайно тоже сочувствовал ушедшей империи.

В тридцатые годы и до Великой Отечественной войны дед с бабушкой и детьми скитались по глухим углам европейской России, делали это намеренно и этому, видимо, обязаны жизнью. Учительствовали в сельских школах, техникумах. Год-два и – переезжали.

Неоднократно случалось, что на деда доносили: бывший офицер, жена такая же, учат советских детей. Были и конкретные цели: убрать с должности или занять убогое жильё. Тётя Мила говорила, что один раз их выручил местный чекист, учившийся немецкому в классе у бабушки. После занятий он подошёл и сказал, что активные граждане написали донос, и завтра их придут забирать. Понимает, что это ложь, но помочь ничем, кроме предупреждения, не сможет. Дед собирал носильные вещи, брал жену, детей и уезжал. Так что не только машина власти, но и активные граждане творили репрессии против себе подобных. Подобных ли?

В июне 1941 года, когда деду было 62, он пошёл в военкомат, как когда-то в 1914-м, но ему отказали. Потом пошёл повторно – опять отказ. Дед сокру-

шался: я четыре года с немцами воевал. У него таким же чудом, как реликвии, были сохранены ордена и золотой наградной кортик. После военкомата собрал он это всё в узелок, как говорила бабушка, сидел над ним долго, а потом отнёс и отдал в Фонд обороны. Остались только фото.

Дед Николай умер в лето 1979-го в возрасте 94-х лет. Вместо отпущенных врачами 40. У него не было пиетета к советской власти, но и врагом её он не был.

Когда дед Николай умер, я был в командировке, в Вологде, и возвращался в Москву поездом. Проснулся ночью от жуткого осознания того, что дед умирает. Предпоследний раз в жизни плакал и не спал до утра (последний — двенадцать лет спустя, пьяными слезами, с другом, когда рухнула моя страна). Умирал дед тяжело, в одиночестве, он боролся и не хотел уходить. Когда вскрыли его комнатушку, он лежал на полу головой к двери, и ноги его были сорваны в кровь. Но выкарабкаться старый солдат уже не смог.

Я помню, как мама всё время уговаривала его переехать жить к нам. И я вставлял свои пять копеек, не понимая, как можно отказываться жить в семье, в неплохой уже тогда, по советским меркам, квартире. А он, усмехаясь, отвечал: а могилку бабушки тоже перевезёшь? Тогда я его не понимал. Теперь понимаю и не досаждаю матери, но навещаю. А звоню каждый день.

Дед Николай до последнего жил полноценной жизнью, он не был немощным стариком даже за 90. Он был изумительно начатан: любое событие, любой факт мог прокомментировать в деталях. Они шептались с бабушкой на французском, когда не хотели, чтобы что-то знала моя мама, а с мамой — по-немецки, когда не хотели, чтобы слышали внуки. И совсем уж экзотикой была латынь, которую они знали в совершенстве. Я, пройдя университетский курс с отличием, был жалок перед пассажирами деда из римских классиков.

Дед был свидетелем и участником эпохи. Он кого-то знал, других видел и слышал, в частности, Гумилёва, Ахматову, Маяковского, Бунина, Вертинского, Веру Холодную и проч., и проч. Видел и слышал Есенина, но моё увлечение им воспринял неодобрительно: пьяница и альфонс.

Я как-то в очередной приезд к деду захватил дефицитный тогда новомировский томик Есенина: “Почитай, дедуля, прошу, ну, хоть одно”. Дед взял томик, открыл. Выпало наугад “Запели тёсаные дроги...” Дед, по обыкновению своему, стал читать вслух, словно показывал: вот, я не обманываю тебя, читаю, но читать мне это не хочется. К последним строчкам голос его задрожал, и он дочитал уже плача. Я не ожидал такого, обнял деда. А дед тихо прошептал: “Жаль его, Серёжу... Всех жаль”...

Ну, и, кстати, о стихах. Как-то, уже студентом пятого курса, я дал деду почитать свои вещи. Дед отнёсся к этому серьёзно, основательно, перечитывал и попросил переписать ему некоторые из них. Мои псевдоэмигрантские стихи-песни, вопреки моим ожиданиям, его никак не задели. Я, конечно, ничего не переписал, как всегда закрутился, забыл и т. д. А дед никогда ни на что не обижался и всегда подсовывал мне и брату из своей небольшой пенсии 3, 5, иногда 10 рублей. Тогда это были деньги. Мы брали, особенно не отказываясь.

У деда был прекрасный, классический слог и великолепная память. Я иногда теребил его: напиши о своей эпохе, о революции, о гражданской войне... Он отшучивался, а как-то сказал серьёзно: писать правду я не смогу, а врать не хочу. Уже в двухтысячных я обратился с такой же просьбой к моему старшему другу и учителю, последнему руководителю СССР Анатолию Ивановичу Лукьянову, написать о перестройке и событиях 1991 года. Лукьянов ответил мне буквально словами деда Николая.

Жаль. Бесконечно жаль.

В студенческой среде 1970-х стали популярны записи песен эмигрантов. Мне как новость поставили запись Рубашкина “Эх, на последнюю да на пятёрку”... А я со смехом ответил, что ещё в моём раннем детстве дед мой это напевал. Как несправедливо мы обходимся с людьми, живущими рядом с нами! Как беспечно, безнадёжно мало общался я со своим дедом! Берегите стариков, ловите драгоценные минуты общения с ними, загляните в живую историю, она там настоящая, не выдуманная и не проплаченная.

Моими предками по отцовской линии были подмосковные крестьяне, и, как я уже сказал, в одинаковой мере я горжусь ими.

Дед Кузьма был моложе деда Николая на 17 лет, и ему досталась Великая Отечественная. Образование у него было 4 класса ЦПШ (церковно-приходской школы). Родился и жил он, как и его отец, дед и прадед, в изумительном уголке Подмосковья, в селе Андреевском, на древней Коломенской земле. После Питера Андреевское — моя вторая малая родина и, пожалуй, самая любимая.

Понятно, каждый кулик может что-то рассказать о своём болоте, но всё-таки в этом старинном русском селе есть нечто особенное.

Начать с прекрасного расположения на высокой горе при излучине когда-то полноводной Коломенки, прорывшей за тысячи лет широкую прихотливую долину. Люди не могли здесь не сесться задолго до нас.

Когда батюшка Леонид, местный священник, с рабочими отрывал котлован под приходский дом у церкви на горе, то они прошли несколько, как их называют, культурных слоев. Где-то в полуметре наткнулись на большие пятна гашеной извести — следы строительства ныне действующей церкви. Это — вторая половина XVIII века. Затем, от полутора до трёх метров, прошли три кладбища, то есть хоронили у церкви (которая была в Средние века деревянной) с незапамятных времён. И на глубине около трёх метров наткнулись на страшную находку: примерно 50 человеческих черепов, вместе, без скелетов. Можно предположить, что это страшный знак Батыева или иного нашествия, но, может быть, и зверства усобиц — кто сейчас скажет? Все эти сёла и деревни в округе связаны с древней Коломной кровной исторической связью.

Как писал о Коломне Карамзин, она гораздо древнее Москвы, и она упоминается в истории по двум случаям: или татары жгут её, или в ней собирается русское войско идти против татар. Примитивное, на мой дерзкий взгляд, обобщение великого классика. Жгли Коломну не только и не столько татары, это исторически огульное обобщение восточных набегов. Так же, как когда-то немцы — это все чужеземцы к западу от Руси, так и татарами стали называть всех, кто приходил с Востока. Тема интересная, вернусь к ней, а суть в этих случаях в другом: уцелевшие при разорении жители и защитники Коломны прятались в окрестных, тогда ещё лесных деревнях, откуда возвращались на пепелище и вновь отстраивали город.

О Коломне писать можно много, люблю этот город. Что я упомянул бы прежде всего, Коломна, в отличие от Москвы, и не только никогда не открывала ворот, не мирилась с завоевателями, а билась нещадно, за что и сжигалась.

Именно под стенами Коломны был единственный в истории случай гибели чингизида — сына Чингисхана Кулькана, — что говорит о крайней жестокости сечи за город. Ведь чингизиды окружались тысячами лучших нукеров-телохранителей, и приблизиться к ним было невозможно. Коломенцы прорубились.

Кулькан был сожжён по монгольским обычаям на костре в центре Коломны, и с ним были сожжены любимый конь, жёны, личные вещи и 40 самых красивых коломенских девушек из полона.

Есть красивая легенда, что Господь призрел муки невинно убиенных в адском пламени, и с той поры в Коломне самые красивые девушки на Руси. Не верите — можете проверить.

Андреевское — непроезжее село. Дорога через него упирается в неширокую речушку Коломенку и теряется в полях и рощах, а вверх по речке на десяток километров нет ни одного населённого пункта.

Коломенку я в своём первом стихотворении об Андреевском назвал своей детскою, единственной игрушкой. Не то, что игрушек совсем не было, — были, в основном самодельные. Но эта была основная. Вода в ней в пору моего детства была ничуть не хуже родниковой — такая же студёная, много не купаешься, хотя мы из неё не вылезали. Её брали из реки на все нужды и пили, конечно, без кипячения, если только дело не доходило до самовара.

Мы, пацаны, черпали её засаленными кепками, отчего вода скатывалась в шарики, сверкавшие на солнце. Речка была холодной из-за родников, которых очень много по округе, и из-за густого свода плакучих ив. В июльскую

жару при солнце под ними шёл настоящий дождь, и многочисленные рыбки и рыбки кидались за капельками воды.

Рыбы было множество. Кроме общеизвестных уклей, пескарей, плотвы, щук, окуней, налимов и голавлей, был ещё падус – красивая стайная рыба, которая исчезла из Коломенки, видимо, навсегда. Была ещё маленькая, 10 см, змеевидная рыбка с маленькой зубастой пастью, мы её побаивались и называли секава. Потом, попав в тропические моря и встретившись с муренами, я с удивлением обнаружил их полное сходство с маленькой секавой. Этой рыбки в Коломенке теперь тоже нет.

В конце эпохи перестройки поля вокруг Коломенки заваливали минеральными удобрениями, не заботясь о том, что их смывает дождями в реку. А какие-то подонки на волне всеобщей раздолбанности и безнаказанности не раз сваливали удобрения с берега прямо в воду. К 1991 году рыба в Коломенке пропала, по ней плыли хлопья грязно-бурой пены, и не то, что пить, входить в такую воду было небезопасно.

Только лет через 10, после того как в 1991–1992 годах накрылось местное сельское хозяйство и поля начали зарастать, речка понемногу стала оживать. Рыба появилась, но мелкая, пугливая, словно не верящая, что люди её снова не потравят.

А вот караси в пруду недалеко от церкви пережили эпоху перемен почти без потерь и так же кишат в илстом дне. Там было два пруда: один зарос и высох, а в оставшемся большом я, в возрасте пяти лет, научился плавать. Ловили с пацанами корзинкой карасей, зашёл чуть выше шеи и – поплыл. В этом возрасте я себя уже помню отчётливо и зримо.

Родители мои в моём детстве жили не то, чтобы совсем бедно, но, в общем, как все, очень скромно. А главное, в великой любви, которая даётся от Бога.

Так же, как и многие, бедствовали отсутствием жилья. Поэтому меня как старшего сплавляли то к питерским бабушке с дедушкой, родителям матери, то к андреевским родителям отца. Происходило это к взаимному удовольствию, а с моей стороны – к восторгу, в особенности от сельской вольницы в Андреевском.

У деда Николая и бабушки Людмилы, говоривших на нескольких языках, надевали на меня, судя по фотографиям, штанишки с помочами, галстук-бабочку, и я уже рылся с дедом в нескольких разрозненных томах Брокгауза и Ефрона. Кушал я иногда на завтрак гоголь-моголь, а бабушка-смолянка прекрасно знала с десяток видов этого лакомства. Как-то раз сказал, что съел бы ведро, а бабушка жадничает. Умная бабушка на следующий день сделала мне его из пяти яиц недельного запаса. На, внучек, пробуй. Съел я больше половины и – отвалился, не могу больше. То-то, внучек, думай о своих словах, не хвастайся, не обещай того, чего не сможешь сделать. Было муторно, стыдно и – запомнилось.

А в Андреевском... На селе ведь как: там слова “попа”, “пописать” и т. д. не говорят, там все вещи и процессы называют просто, доходчиво и правдиво. Я это впитывал как губка, а потом с этим лексическим запасом появлялся после лета к питерской родне. Бабушка Людмила не то, чтобы падала в обморок, не такую кисейную жизнь она прожила, но, как бы сейчас сказали, была в трансе и “отскребала” с меня андреевский словарный запас.

Дед Николай никак это не критиковал, усмехался в усы и говорил: “Пройдёт”. Он, проживший шесть лет в окопной крови и грязи двух жестоких войн, никогда не сквернословил. Был у меня период, когда командиром взвода я разговаривал в основном только матом. Прав был дед, как и во многом другом, осознал, прошло.

Грех это; людей оскорблять, прежде всего, – себя. А мужчина, матерящийся в присутствии женщин, – не мужчина. Да и женщины, смеющиеся в ответ – не очень. Хотя... каюсь, если солдатик в ступоре вылез под пулю снайпера, я знаю, что ему сказать. И – он поймёт, услышит, спрячется. Жизнь всё-таки не чёрное и белое, а, по большей части, состоит из полутонов.

В те годы родители мои, пытавшиеся зацепиться в Москве, не выдержали неустроенности быта, отсутствия работы для мамы (отец работал электро-монтажником на строительстве ресторана “Прага”) и, думаю, не без настоячивых пожеланий отца переехали под Коломну.

Там, недалеко от его родителей, в селе Федосьино, в однокомнатной “квартире” барака учителей с удобствами на дворе и прошла оставшаяся

часть моего детства. Для меня главное было, что это рядом с Андреевским, куда я уже совсем зачастил по поводу и без повода. Тем более, с первой полочки купили мне взрослый велосипед “Кама”.

Мама моя, ленинградка, выросшая, пусть в бедной, но в семье старых питерских интеллигентов, поначалу потихоньку плакала, год, как она потом говорила. Но отец был рядом, и это была её Величество Любовь, в которой они прожили вместе 50 лет.

У мамы моей, студентки старшего курса института, со слов моей тётки, проблем с ухажёрами не было. Был даже какой-то относительно молодой контр-адмирал, но особенно она выделяла одного – курсанта выпускного курса высшего военно-морского училища – мечта многих ленинградских девчонок. Дело, как все, кроме неё, полагали, шло к женитьбе, и как-то раз мама пришла на оговорённую встречу у входа в Адмиралтейство, а “жениха” в увольнение не отпустили.

Мама, конечно, расстроилась, а к ней на скамейку, что справа от входа, если стоять лицом к Адмиралтейству, подсел балтийский матрос первого года службы. Деревенский парень из того самого Андреевского. Почти без образования, 4 класса. Вскоре после “учебки” его отправляют на Северный флот, где служили тогда 5 лет. В общем, для кого-то никто.

Но такие вещи, как любовь, если, конечно, это Любовь, вершатся не нами. Против были все и всё. А сельские бабушка с дедом (нет, дед Кузьма в этом не участвовал) отписали отцу: “Не нужна нам твоя Римка” – и сетовали по поводу розовощёкой невесты, которая не чета была какой-то там городской студентке. В загс полагалось идти за несколько месяцев, только с книжкой краснофлотца, а она была у командира, который тоже был против этой “блажи”. Матросу надо было думать не о женитьбе, а о Северном море. У отца было последнее увольнение на берег до выхода корабля. Никто их не поддерживает, но все осуждают: глупость, молодость, блажь.

И тогда они решаются на шаг, который можно понять, только представляя то время. Два убеждённых, правильных комсомольца идут в церковь. Она и сейчас есть, достопримечательность Питера, храм с народным названием “Кулич и Пасха”. Священника мама знала и хотя и редко, но бывала у него с бабушкой. Батюшка в храме, Царство ему Небесное, выслушал молодых и, тоже рискуя, тайно их обвенчал. Звали его Сергей Петрович Поляков.

У них был всего один день ранней весны, 8 марта. Ей – 20, ему – 21, большие дети. Они не знали ничего из того, что знают сейчас, наверное, уже в начальных классах. Но они уже участвовали вовсю в реальной жизни, направившей плечи после адской боли потерь великой страны.

Господь-то, в отличие от родни, видел это. В 1941 году отец 12-летним пацаном пошёл работать в колхоз за ушедшего на фронт моего деда. В 14, в 1943-м он уже самостоятельно сел за трактор и пахал поля под Андреевским до призыва на флот. Отсюда и 4 класса. Так было надо. Тогда же и закурил – работали по ночам, – чтобы не засыпать. Дружок, тоже пацан, заснул на плуге от недосыпа и с голодухи и свалился под лемех... Отца-то в тех самых полях, а точнее – в поле, в красивой излучине у слияния рек Коломенки и Бешенки, и родила в 1929 году, в роскошном месяце августе моя бабушка Мария Ивановна.

А мама в 16 закончила школу, училась с отличием в институте. Отец дал ей слово закончить школу и получить высшее образование. И – сдержал его.

Это была не блажь, как говорили родные и знакомые. Это был дерзкий, продуманный поступок двух молодых влюблённых, но уже вполне серьёзных людей, готовых отвечать за свои слова и дела. И 9 декабря того же года, через 9 месяцев, час в час, в стареньком, уцелевшем от бомбёжек домишке-роддоме на берегу Финского залива появился я.

Так мама из блестящей студентки-выпускницы попала в матери-одиночки, в брошенку для чьих-то злых глаз. Но добрых было больше.

Отец писал ей по 2-3 письма в неделю. Не поверил бы, если бы сам в детстве не видел у мамы эту гору писем. И только через 3 года службы на Северном флоте отец получил краткий отпуск. Привёз мне 10 маленьких шоколадок и, пока они обнимались, я, толстощёкий белобрысый трёхлеток, их уговорил. И – ничего, ни аллергии, ни прочего, ничего не приставало. Удивительно, а, наверное, справедливо: мы, послевоенные мальчишки, кушавшие очень скромную простую пищу, и не всегда вволю, гонявшие до ночи

в футбол, хоккей, оказались гораздо здоровее нынешнего поколения. Десятилетия спустя командующий ВДВ, дорогой мне Володя Шаманов посетовал: не можем набрать по здоровью достаточно пацанов в спецназ ВДВ.

Но разве только футбол-хоккей? Были десятки других детских игр, не всегда корректных для нынешнего понимания, таких как расшибец, ножички, пристеночка, вышибалы, чижик, салки, колечко, штандер, лягушки, козёл и двадцать одно (не путать с картами) и т. д. И, конечно, лапта, городки в каждой школе. Я не сожалею и не обвиняю никого, так, для размышления желающим этим заниматься.

Через год, как вернулся отец, появился мой брат Николай. Жили, как уже отмечал, мягко говоря, скромно, как все, и меня отдавали на месяцы то к питерским бабушкам-дедушкам, то в Андреевское.

В Андреевском, в удивительно красивом уголке Подмосковья, скорее всего, и появились у меня первые стихотворные строчки. Были это частушки или подражание частушкам, на которые были горазды дед Кузьма и дядя Коля, младший брат отца, балагур, пьяница, охальник, а вообще замечательный у меня был дядька. Был он водителем, ездил на грузовых “ЗИСах”, на “ЗИЛах” и давал порулить, сидя у него на коленях, наверное, лет с пяти.

А у отца в школе был учебный “ЗИС-5”, в который мне разрешалось залезать. И зря. Я, стоя, поскольку сидя ничего не видел, включая первую передачу и нажимал на стартёр. Авто плавно двигалось по школьному двору на зависть окружающей ребятне. Аккумулятор посадил безнадёжно, а от отца, в качестве компенсации за подзатыльник, получил суровый комплимент: соображает, засранец.

Две стихии формировали меня, не близкие, но в чём-то единые. Более чем европейски образованные, питерские бабушка и дедушка имели в своём небогатом быту какие-то нестандартные для того времени вещи, которые разжигали любопытство. Прежде всего, книги. Эти книги, в частности, разрозненный Брокгауз, дореволюционные литературные и поэтические сборники, религиозные издания, другие, редкие в ту пору книги, будоражили фантазию, намекали на некое другое мироустройство и приоткрывали полог, скрывший, казалось, навсегда, другую Эпоху, другую Страну.

Ещё была строгая дисциплина, была порядок во всём, была бедная аккуратность и скупость на простые эмоции. Был уникальный старопитерский язык. Потом, на Дальнем Востоке, он спас меня от больших проблем, словно предки мои протянули мне руку помощи. Особенно отличался анахронизмами дед Николай. Его обращения: сударь, любезнейший, душа моя, голубчик, не откажите, не обессудьте, соблаговолите, спроворьте и т. д. и т. п. чаще вызывали усмешку, но порой и открытое уважение.

Особенно весело было наблюдать, как дед обращался где-нибудь в сельпо за городом: “Голубушка, с часом ранним, не откажите в любезности краюшечку ржаного. Да, и если, часом, будет ломтик докторской, душа моя... – Ты, чо, дед, говори по-русски”...

Помню, в электричке к нам подсел военный, старший офицер (я уже разбирался) и разговорился с дедом. Выходя на своей остановке, он долго тряс дедову руку и произнёс: “Снимаю перед вами шляпу, берегите себя”. Я ещё, помню, удивился, при чём тут шляпа, не было у него шляпы. Но дед пояснил этимологию.

В Андреевском же была феерическая свобода. Так, с пяти лет меня уже отпускали с пастухами в ночное. Было в селе два стада: одно колхозное, большое, ему были лучшие выгоны, и пастухами там были здоровенные мужчины. А маленькое стадо было из личных коров и овец. Выгоны у него были неудобные, но красивые кособоры речек Коломенки и Бешенки. Единственным пастухом был маленький дед Володя и при нём подпасок, беззлобный деревенский дурачок, тоже Володя. Был дед Володя мастер на разные истории и сказки, в том числе матерные, а я для него таскал у своего деда Кузьмы по нескольку штук папирос “Прибой” или сигарет “Памир” – предпочтительные деды бренды. Бабка знала, да и дед знал, но ничего не говорили – наша-то корова и овцы тоже были в стаде.

Год спустя я сделал карьеру и стал охотничьей собакой у деда Кузьмы. Были ещё у деда Моська и Шустрый, но мы конкуренции не боялись и жили дружно. То они отрывались в андреевских садах с себе подобными, тогда я был на подстраховке, то я уезжал, и они носились за дедом. Дед Кузьма

внешне не сильно опасался за своего шустрого пацана. Запомнилось: дед с отцом стоят на взгорке у лесочка – Чемורה – перед осенним болотом, куда упала подстреленная дедом утка. Болото ещё не было осушено, осушат потом, в 1970-е, и дрожало чёрной водой среди жухлых кочек осоки. Я по кочкам полез пробираться за уткой, а отец, слышу, обеспокоенно спрашивает деда: не утонет? Нет, говорит дед, не утонет, вот ты утонешь, а он маленький ещё, лёгкий.

В восемь лет дед Кузьма подарил мне старенькую одностволку ИЖ-5 из своего арсенала. Я перешёл из категории охотничьей собаки в маленькие охотники, и мне хотелось стрелять во всё, что более-менее могло быть птицей или дичью. Дед осаживал, он вообще был охотником-экологом, как бы сейчас его назвали. За не вовремя добытую дичь от деда доставалось любым, особенно городским, появившимся в окрестностях села. Сухощавый и жилистый, с чёрной повязкой вместо потерянного на фронте глаза, он был непревзойдённым авторитетом для молодых здоровых мужиков, терявшихся при встрече с ним.

Глаз деду Кузьме, как он сам говорил, выплеснула пуля из “шмайсера” при наступлении. Немец уже был не тот, что в 1941-м, и фольксштурмовцы, состоявшие часто из дедов и необстрелянных пацанов, издавала встречали наших наступающих бойцов. “Шмайсер” (хотя и неправильно его так называть) был автоматом для ближнего боя. Его короткая толстая и тупая пуля на дальнем расстоянии могла, как говорили фронтовики, даже отскакивать от скатки шинели, от портупей, а деду не повезло. А скорее, повезло, не погиб ведь. Всего у деда Кузьмы, как он сам говорил, было 17 дырок, не считая природных. Большею частью это были осколочные, но две пулевые. Фронт, ранение, госпиталь, фронт, ранение, госпиталь. . .

Последний осколок у него вышел в конце 1950-х, я был при этом. Дед дня за два не на шутку занемог и слёг. Стал двигаться осколок в плече. Бабушка всполошилась и побежала в соседнее Лукерьино за фельдшером. Это в трёх километрах ниже по Коломенке, а я остался с дедом. Плечо у деда стало огромным, распухшим, и ему уже невозможно было пошевелить рукой. Он перестал двигаться и разговаривать, лежал в своей крохотной комнатке напротив кухни – кто знает избу-пятстенку, тот представляет – и глядел мимо меня. Баба Глаша, фельдшерница, прибежала, запыхавшись, с моей бабкой и велела дать нож, свечу, тазик и водки. Дед от водки отказался – с какой радости? “Кузьма, больно будет! – Режь!” Дед, как он сам говорил, был “дермантинщиком”, любил портвейн, который называл “красненьким”. То есть вино у него было “беленькое” – водка и “красненькое” – всё остальное. Когда я, уже студентом или слушателем приезжал, дед спрашивал: “Красненького привез?” Привозил.

Меня сначала из комнаты выгнали на кухню, а потом бабка позвала обратно уже в горницу. Дед лежал на боку, на старом диване под фотографиями его самого, молодого, еще с двумя глазами, и трёх его сыновей. Баба Глаша усадила меня на стул в изголовье деда и велела смотреть деду в глаз. Что не так будет, говорить. А на неё и что она делает – не смотреть. Дед сжал мою ладошку, а я глядел на его задубевшее на солнце и ветрах, изборождённое морщинами лицо крестьянина, в его выгоревший серо-голубой глаз.

Фельдшерница начала колдовать, бабушка ей помогала, и они перешёптывались с матюками, не стесняясь меня.

– Мишка, дед смотрит?

– Смотрит.

Дед не шевелился, смотрел строго мимо меня, только вдруг крепче стал жать мою руку. Я стерпел, особенно больно и жутко было, когда из дедова глаза выкатилась маленькая блестящая слезинка. Потом по оцинкованному тазу, в котором бабка делала похлёбку для живности, ударил кусочек крупяной повской стали.

– Ну, всё! – Дед отпустил руку и попросил водки. – Щас, потерпи чуток, зашиваю.

Я краем глаза увидел, что тазик был наполнен жёлто-зелёной страшной жидкостью.

Потом дед заснул, а две женщины, довольные и словоохотливые, со смехом обсуждали что-то и допивали на кухоньке перед русской печкой дедову анестезию. Всё обошлось, выжил старый солдат. Я сидел около спящего

деда, мне тоже досталось попереживать, но водку я тогда ещё не пил. Я гладил дедову, похожую на грабли руку и радовался, что хорошо всё так закончилось и что дедушка, как сказала баба Глаша, теперь не умрёт.

Спустя годы я благодарен судьбе, что застал это железное поколение фронтовиков, и тень их духа народа-победителя коснулась и меня. Да простят меня ныне живущие герои-фронтовики, низкий поклон вам, но они в войну, а точнее, уже, как правило, в конце войны были мальчишками. Основное бремя самой страшной в истории человечества войны вывели те, кому тогда было за 30, за 40, за 50 лет. Это был хребет народа великой страны, и их давно уже нет. Дед Кузьма перед войной работал в Коломне, на оборонном заводе, имел бронь. Но, как и дед Николай в 1914-м, в 1941-м пошёл в военкомат уже 40-летним мужиком с двумя детьми и ушёл на фронт добровольно.

Как и дед Николай, Кузьма не любил говорить про войну, а если что-то проскальзывало, то с каким-то сарказмом, насмешливым юморком. Помню, на скамейке перед палисадником сидели они, по-моему, с дядей Валею Рошиным, и дед Кузьма вспоминал, что мина-то вторая удачно взорвалась, не сзади, а сбоку. Повезло. А вот Ванька такой-то бежал чуть впереди, так ему всё в спину и попало. Представляешь, стыдоба была бы в медсанбате, раз в ж... попало. Повезло... А дядя Валя, форсировавший Днепр и получивший пулю в грудь, тоже смешком отвечал: в грудь будто бревном ударило, очнулся в лазарете и медсестричка, хорошенькая такая, даёт с ложечки воду. Красота! Ну, действительно, повезло, живы ведь остались.

Дед Кузьма не любил фильмов про войну, в особенности тех, где мы штабелями клали фашистов. Это было уже позже, когда у них появился чёрно-белый телевизор "Рекорд", и шёл, как помню, фильм "Крепость на колёсах". Мы с младшим братом устались в экран, а дед некоторое время спустя рывкнул с дивана: "Мишка, выключи эту х...ню, не так всё было! Немец был сильный солдат. И армия у него была сильнее нашей". А потом, уже в тишине, спокойнее: "Но мы их победили".

Как-то дед сказал, что самыми лучшими вояками на фронте были татары: ему руку оторвёт, а он другой рукой за горло фашиста душить будет. Я запомнил, а потом по жизни понял и признал для себя очевидное, несмотря на разные книги и учебники: нам исторически повезло, что мы живём рядом с этим умным, красивым и мужественным народом. Что касается книг и учебников, то мы всё-таки живём в XXI веке, во времени технологических прорывов и кратко возросшей информативности взглядов на мир и на историю тоже.

Давно пора, непременно пора уже серьёзно разобраться с историческим наследием битых шведских и немецких историков (битых, кстати, реально Ломоносовым) и их учеников. Рисуя ужасы Востока, они преднамеренной ложью о норманнах, монголо-татарском иге и т. д., и т. п. тащили Россию на Запад, в Европу, в католичество, разумеется, на правах вассала. Не удалось, не уместилась Россия.

Для меня спор западников и славянофилов был решён ещё в юности в беседах с дедом Николаем. Позиция его была такая: ни Запад, ни Восток, но воспринято было многое и от Запада, и от Востока. Россия – это отдельная, сформировавшаяся в особых условиях человеческая цивилизация, характерная как воспринятыми, так и собственными сформированными чертами и уникальными свойствами. Одно из важнейших и основных – уникальный успешный опыт совместной истории и жизни сотен народов. Способствовали этому особые свойства русского народа.

Я не лакирую свой народ, знаю его слабости и проблемы, являюсь его частицей. Но в чём он уникален и что сыграло особую роль в становлении российской цивилизации, – ему, кто бы что ни говорил и ни пытался вчинить, не присущ национализм. Я не принимаю всерьёз отдельных инфицированных персонажей неизвестного, или, наоборот, известного происхождения. Мы никогда не ставили и не ставим себя выше других (говорю о народе, а не об отдельных политических теориях и практиках). Нам это генетически не присуще, и этим мы коренным образом отличались от Британской и иных империй, а теперь – от империи США.

В Афганистане американцы удивляются, почему до сих пор отношение к "шурави" лучше, чем к американцам, которые вроде бы их поддержали и "освободили". Пишу это по данным из американского источника. Афганцы

считают, что советские, русские, а в итоге – российский бойцы никогда не ставили себя выше них, а американцы ставят.

Возвращаясь к нашим волжским татарам, отмечу, а то, может, кто-то, скорее всего, и не знает, что по современным научным данным генетически волжские татары ничего общего с монголо-татарами не имеют – менее 2%, у многих славян – больше. Зато есть, и больше, чем монголо-татарских, кельтско-немецкие гены. Выходит, пора уже волжских татар записывать в кельты.

Один мой друг – татарин и гордится этим, что правильно. Надо гордиться своим народом, но не за счёт других, как это делают американские политики. И уважать себя, тогда и ты будешь уважаем. Так вот, как-то говорю ему по набежавшей в контексте разговора теме: какой ты татарин, ты посмотри на себя в зеркало, у тебя внешность типичного итальянца.

– Да ладно! – отвечает. Проехали, забыли. Где-то через месяцы встречаемся.

– Ты, знаешь, – говорит, – был в Италии, действительно, за своего принимают.

Другой, мой младший коллега и друг, тоже татарин-татарин, с пшеничными волосами, голубыми глазами и внешностью Леля из русской сказки. Бывает, скажете. Да нет, это Господь нам, людям, подсказывает, как надо видеть друг друга и как относиться друг к другу.

Что касается известной фразы, упорно приписываемой русским классикам, а на самом деле являющейся одним из домыслов классического русофоба и, по совместительству, масона и педераста (как по-европейски толерантно!) маркиза де Кюстина о том, чтобы поскрести русского... – ну, нет у нас монголо-татарских генов! Не буду говорить о французских генах маркиза, а то запишут меня в тех, кем я никогда не был. А фразу из господина де Кюстина я бы предложил использовать по-научному: поскреби каждого русского и найдёшь в нём кельта.

Так было иго-то? Конечно, было. Были все средневековые ужасы с набегам, полоном, кровью и мерзостью насилия. У меня вопрос: а что, какой-то народ, из заметных, конечно, жил в те века по-другому?

Или есть какая-то страна, которая зачата была не в крови и насилии, а на розовых подушечках в цветочных чашечках безгрешными эльфами? Нет такой страны, у эльфов трахаться нечем. Простите великодушно. И, что ещё любопытно, в основе возникновения каждого, более-менее заметного современного государства лежит правовой нигилизм, неприятие или нарушение законов предыдущего государства или метрополии.

* * *

На моей памяти, а было это в 1970-х, я был уже студентом, однополчанин к деду Кузьме приезжал один только раз. Кривоногий и узкоглазый, хромой и без пальцев на одной руке. Оказалось, бурят. Тоже полковой разведчик. Под Москвой был в командировке на каком-то совещании по обмену опытом, много их тогда было. При нём был портфель с дребезжанием, и я деду тоже привёз бутылку. Они обнялись, что для деда Кузьмы было крайней редкостью, и сели под яблони выпивать. Меня дед, против обыкновения, не позвал, но я понял и не обиделся. Надел одну из телогреек из сараюшки и пошёл шляться по саду.

Этот сад был – песня! Вернувшегося с войны деда определили в колхозные садовники на то место, где в Андреевском был барский дом и барский сад. От них к тому времени почти ничего не осталось. Я помню, был ещё контур фундамента да остатки мраморных надгробий небольшого барского кладбища. Дед, получив назначение, с таким же, как он, покалеченным фронтовиком да бабами в придачу расчистили поле где-то в 6 га, посадили вокруг защитную полосу из дубов и берёз, а потом посадили и сад, навезя из каких-то мичуринских питомников разные местные сорта.

Сад был на горе, над широкой долиной реки Коломенки и к моему детству уже вовсю плодоносил. Было десятка полтора сортов, начиная с июньского белого налива, потом папировки и медового налива в июле и заканчивая в октябре антоновкой и краснощёким пепин-шафраном. Особенно чудесными

были медовый налив, отдельные яблочки которого становились янтарно-прозрачными так, что на процвет были видны чёрные семечки, и роскошный сентябрьский штрифель. В этом саду и прошла значительная часть моего андреевского детства, и здесь было моё основное лакомство – яблоки. Таких в современных магазинах, в основном, с импортным двухцветным ассортиментом в восковой кожуре, нет и не предвидится.

После смерти деда Кузьмы в конце 1980-х сад погиб, осталось только небольшое поле в коробочке уже старых дубов и берёз. По-прежнему прекрасен вид с горы на долину Коломенки, которым когда-то любовались жители так-же канувшего в вечность барского дома.

Вернулся я часа через три, когда дед с бурятом уже напились и заснули рядом, среди валявшихся в траве падалиц. Была уже августовская вечерняя прохлада, и женщины-колхозницы, работавшие в саду на сборе урожая, как раз заботливо укрывали их телогрейками и охали, не простыли бы.

К чему это вспомнилось? Да из-за телогреек, ватников. Последыши тех самых, которых Кузьма с бурятом поставили в 1945-м раком в центре Европы, называют нас теперь ватниками. А ещё мы – совки. Ну, это чтобы мусор собирать.

В начале 1990-х пришедшая на российский рынок шведская ИКЕА дала по ТВ рекламу: граждане, которых они так и называли совками, ходят по магазину и с надзирательно-дебилными лицами всматриваются в икеевские товары. В войну-то шведские политические проститутки, провозгласив нейтралитет, всюю помогали Гитлеру поставками сырья и промышленной продукции для нужд войны и предоставили фашистам коридор для переброски войск и техники против наших морячков и пехотинцев на севере. В 1943-м, после Курской битвы, обос*ались и коридор прикрыли, а в 1945-м аж разорвали с Германией дипломатические отношения! Основатель ИКЕА, кстати, фашист, поэтому и прибежали его последыши в 1990-е с такой рекламой.

На авторство термина “совки” претендуют сейчас несколько известных интеллигентов. Ещё один из них гордится тем, что изобрёл для нас ещё один термин – колорады. Ленин хорошо охарактеризовал эту публику, как говно нации.

А дед с бурятом – они же ватники, они же совки, и они же колорады – даже не заболели. Ватников-то только в войну сорок миллионов пошили, миллионы жизней спасли. И ещё спасут и мусор, где надо, вычистят. Так они и лежат в памяти моей среди опавших яблок два искалеченных войной старика, два солдата Победы. Да, пьяненькие, да, под ватниками. Не тревожьте их. Ибо их дух живёт в нас.

Печалит другое: элита. Крикуны и кричалки – лишь мишура серьёзных политических процессов. Я был в качестве прикомандированного на двух предпоследних съездах КПСС, работал с делегациями от южнороссийских обкомов партии. Номер первого секретаря и соседний, использовавшийся как склад, ломались от дорогих подарков, ящиков со спиртным, деликатесов. Всё это разносилось по нужным кабинетам в ЦК по спискам с соблюдением соответствующей градации. Каждый день и вечер устраивались застолья с обязательными тостами в адрес генсека, членов политбюро, нужных гостей. И – за партию, и – за советский народ. Изрядно выпивший, первый секретарь с закуской на вилке говорил мне: надо завтра пойти сходить к Ильичу, имел в виду мавзолей Ленина. Иван Иванович уже был, надо пообщаться с Ильичом. И – тост.

Всё происходившее перед моими глазами сквозило таким махровым формализмом, параллельной реальностью, оторванной от жизни страны. Договорняком заевшейся элиты, живущей по установленным ею специально для себя понятиям с соблюдением неких реверансов, поклонов в адрес того, кому и чему реально уже давно не служили. Было ощущение пира перед бедой. Так оно и вышло.

Нечто подобное в других измерениях, декорациях и персонажах я ощущаю и сейчас. В истории проблемы для России создавали, как правило, элиты. Расхлёбывал и решал их народ. Дай Бог разорвать как-то этот дьявольский круг! Надежда лишь на то, что нынешние правители как-то ближе к Богу.

Примерно тогда же, осенью 1976-го, надел я по приезду в Андреевское рано утром дедову телогреечку и пошёл шляться по первому заморозку золотой

осени, по позадьям и косогорам вокруг любимого села. И написал второе стихотворение, посвящённое Андреевскому.

* * *

Андреевское моего раннего детства обладало уникальным, сохранившимся, видимо, от общинного уклада бытом. В селе не было замков, двери подпирали какой-нибудь жердинкой или в проушины для замка вставляли палочку. Бывало ещё – завязывали верёвочкой. При кажущейся вольнице детей, они никогда не оставались без присмотра. Этим занимались все жители одновременно, совмещая со своими житейскими делами и заботами. То от проезжающего водителя мы получим выволочку – нечего на дороге играть, то тётки, полощущие бельё в реке, не велят так долго сидеть в ледяной воде, то прохожий дед прикрикнет, чтобы не разоряли ласточкины гнёзда на речном обрыве, то тётя Глаша позовёт на борщ – обедать пора. Вечером бабка спросит: “Что на обед не приходили?” Мы ей: “А мы у тёти Глаши пообедали”. “Ну, и ладно, а у меня Марфушин Вовка и Колька Исаев пообедали”.

Причём все новости о поведении детворы, особенно хулиганистом, были известны через час всему селу. Я поражался, приезжая уже взрослым к бабке, что пока я шёл через село минут 15 от остановки городского автобуса, она уже знала, что я на подходе, и выходила встречать.

На селе были две точки притяжения, два очага культуры: магазин и изба-клуб. В магазине шёл обмен новостями, а в клубе собиралась, в основном, молодёжь.

Магазин в Андреевском конца 1950-х, думаю, удивил бы многих и сейчас. Кроме набора вещей для крестьянского быта – хомуты, лопаты, грабли, пилы, топоры, керосиновые лампы и примусы, – стояли вдоль стены несколько бочек. В них были селёдки, кильки разного посола, а также бочка с красной икрой и бочка поменьше – с чёрной икрой. Висели рыбные и мясные балыки, колбасные кольца, баранки, а на прилавке – сырные головы. Была, конечно, и водка, и какие-то другие бутылки, но водка запомнилась из-за выражения взрослых “собрать по семь рваных”, то есть на троих, и стоила она 21 рубль.

Отец мой тогда работал в Москве электромонтажником и получал примерно 800 рублей, мама временно не работала. А потом, в 1961-м, по приезде в Федосьино, мама как учитель стала получать примерно 600 (деноминированных 60) рублей, а отец – немного меньше, так как он только что поступил в институт.

Нас, пацанов, особенно занимал ряд стеклянных банок, где красовались всевозможные карамельки: шарики, подушечки, горошек. Конфеты посolidнее лежали в коробках и назывались шоколадными. Были они без обёрток и, особенно помню, “Кавказские”, по 15 рублей. Считались дорогими, и бабушка брала их себе к чаю.

Нас сладостями особенно не баловали. Чаще всего ими являлись кусочек сахара или – в сезон – кусок медовой соты, с которой приходилось бегать от разярынных пчёл. Были ещё “пирожные”: кусочек чёрного хлеба с подсолнечным маслом и солью или с сахарным песком.

В начале 1960-х бочки с икрой пропали, и другая снедь поредела, а больше стало бутылок и консервов.

Значительная часть продуктов к нашему столу попадала с огорода бабушки, из погреба, где устраивался в конце зимы ледник, и от шумного, пахучего хозяйства кур, гусей, овец и коровы. Печальным событием детства было расставание с подростком бычком, которого увозили чужие дядьки на грузовике в город. Бычок появлялся в феврале, когда ещё были морозы. Его ставили в клеть рядом с русской печкой, а мы некоторое время морщили носы от тяжёлого запаха, висевшего в избе. Но – пригревало, и мы уже вели его пастись на зелёную лужайку к реке. Особенно помню дружбу с белым бычком, который был самым игривым и весёлым. Когда его увозили, мы, детвора, ревели, а лет десять спустя я написал стихотворение “Бычок”.

К моему удивлению, когда я уже был юношей, дед Кузьма, лишённый, казалось, сантиментов, с большим интересом и одобрением отнёсся к тому, что я пишу стишки. Сам в довоенном прошлом избач, гармонист и баянист,

он одобрял “работу молодой” и своеобразно отзывался о собирающейся у клуба деревенской молодёжи. “Мы, – говорил, – на гармошке выучимся, частушки, побаски сочиним, споём душевно, а потом к девкам под юбки лезли. А эти – приходят с радиолой, пластину поставят, кнопку нажали – и тоже под юбку лезут. Не тот юнош пошёл. А ты, Мишка, сочиняй, голова лучше будет”. Дед Кузьма считал, что у меня есть голова и я далеко пойду, “если не остановят”.

Заметным исключением в ситуации с радиолой был мой дядя Коля, брат отца. Их было три брата: старший – отец, средний – дядя Коля и младший – Василий. Дядя Коля был очень добрым, смешливым и постоянным прикольщиком. Василия я дядей никогда не называл, был он старше меня всего на десять лет, не такой добрый, не такой весёлый, но я их обоих любил. Хотя дядю Колю – больше.

Дядя Коля был уникальный частушечник, знал их сотни и сам сочинял. Разумеется, большинство были матерные. Играл он на баяне, это было более продвинуто, чем на гармошке, и ещё молодым ходил к клубу на молодёжные посиделки. Мы, мелкота, шастали следом и подглядывали, а нас, чем становилось темнее, тем серьёзнее оттуда гоняли. Радиолой дяде Коле была не конкурент и её сразу выключали. Дядя Коля начинал с каких-нибудь “Подмосковных вечеров”, голос у него был высокий, звонкий и слух отменный. Молодёжь его принималась подначивать: “Колян, давай, врежь!” Его будущая жена, молодая и красивая, будущая моя тётя Люся, как бы нехотя, для форсу, противилась: “Давай, только не хулигань, а то опять баба Маня ругаться будет”. Бабушка моя за матерные частушки и мат ругалась, справедливо считая это делом греховным, а дед Кузьма ухмылялся. Дядя Коля соглашался не хулиганить и начинал что-нибудь про кукурузу, про Хрущёва (и никто и ничего не боялся), а потом, под провокационные толчки парней, начинал что-то такое:

*Мы не будем хулиганить,
Хулигански песни петь.
Помогите, Бога ради,
На х... валенок одеть!*

Хочот, девчонки визжали и – понеслась!

Что-то в памяти у меня осталось, а большая часть стёрлась. Я всё собирался, уже взрослым, приехать к нему с магнитофоном, да морока житейская не давала. Так и ушли эти сотни, а может, и тысячи частиц не для всех изящного народного юмора вместе с ним. Умер дядя Коля в пятьдесят с небольшим от цирроза печени, поскольку пил беспорядно. Так же, от того же, но позже умер и Василий. Россия... Никогда не осуждал их за пьянство, сам не ангел, но ведь не просто так тянет нас к проклятой...

Что интересно, дед Кузьма говорил, и не от него одного я это слышал, не пили так в 1930-е годы, перед войной. И не потому, что запрещали или не было, а в народе, в обществе был какой-то дух, какой-то распрямляющийся стержень, страна рвалась в будущее, были идеи, были цели, был подъём. Подкосила эту ситуацию, конечно, война, конечно, репрессии, конечно, увеличивающийся разрыв между декларируемым и реальным. Водка – это не только зло, это и барометр состояния общества, его духовного здоровья.

* * *

После восьмилетки в патриархальном Федосьино я фактически начал самостоятельную жизнь, отправляясь учиться в соседнюю Коломну, что была от нас в 16-ти километрах. Автобусы ходили, но, особенно зимой и в распутицу, были проблемы. Так что эти 16 км до Коломны и обратно я, наверное, больше сотни раз отмерил пешком.

Тогда, видимо, и закончилось моё замечательное сельское детство с его простым, бесхитростным укладом. Пусть где-то наивным, неброским, но удивительно душевным и лиричным миром уходящей русской деревни, такой, какой она, наверное, не будет больше никогда.

Не могу не вспомнить кому-то чужие, ничего не говорящие имена, которые звучат для меня невозвратной музыкой детства и ранней юности.

Нет уже в живых степенного Юры Чернова, озорного Панова Витька, надёжного и бесшабашного Толи Тверитнева. Царство им Небесное.

Живы, слава Богу, не только в памяти моей, скромник Витя Урубков, красавчик Володя Мурзин, спортивный Володя Гриненко, умница Володя Фельдман, смешливая и дерзкая Лидочка Гулина, тоненькая Аллочка Сизова, беленькие Катюшка, Вовка и Коля Исаевы, всегда справедливый Коля Куликов, замечательный мой двоюродный брат Вася Каштанов и мудрый не по годам, лучший друг моей юности Саша Сурков.

* * *

Встретили меня в 26-й школе города Коломны, мягко говоря, неприветливо, чему был ряд причин. Я — из села, чего тогда стеснялся, одевался соответственно. Говорил книжно, в прошлой школе был отличником, а главное, как выяснилось, родители мои были учителями.

Да ещё на первом уроке экономической географии, которую вёл старенький учитель-фронтвик, была контрольная на тему экономической ситуации в мире. Я расписался про инфляцию, стагнацию, кризис и т. д., начитанный был. На следующем уроке этот учитель, к неудовольствию покрасневших местных отличниц и их хулиганистых поклонников, сказал, что этот новенький разбирается во всём на порядок лучше всех и вообще, он видит у меня большое будущее. На перемене меня обступили: где списал, что врёшь, ещё узнаешь и т. д. Где-то через неделю, вызвали меня в мужской туалет той самой школы и от порога человек 5-6 свалили и катали ногами по полу безжалостно и жестоко. Отлёживался я на этом полу долго, пока не пришла старушка-уборщица. Помогла подняться, умыла, почистила, я отошёл и удрал на вечерний автобус. Уборщица меня не знала, а учить, что бившие меня, как я потом узнал, намеренно не били в лицо, чтобы не было разборки у учителей на следующий день, всё остальное я стерпел, хотя болело с неделю.

Вот тогда, лёжа на заплёванном, загаженном полу туалета образца 1960-х годов с дырками в полу, я дал себе слово, что меня больше не будут бить лежачего ногами. Слово своё я сдержал, хотя и в спорте, и по жизни ещё не раз приходилось быть битым, но — не сломленным.

Довольно быстро я разобрался в молодёжной среде тогдашней Коломны, пестревшей подростковыми бандами, в основном, по местам проживания. В зоне 26-й школы действовали комсомольские (по названию улицы), монастырские (по Кремлю), протопоповские, репинские, кировские (по микрорайонам) группировки. Я примкнул к репинским.

Мой будущий друг Слава Пескарёв, по кличке, разумеется, Пескарь, нашёл меня сам. Сказал, что всё знает, что сам часто живёт в Лысцеве у тётки, в селе на Коломенке, недалеко от Андреевского. Слышал он о моём деде Кузьме — правильный дед, уважаемый. Что отца у него нет, мать живёт с отчимом на Репинке, пьют, дерутся, поэтому он у тётки в Лысцеве чаще, чем в Коломне. Что городских пидо*сов он тоже не любит, бил, бьёт и будет бить. Что самые дерзкие и правильные пацаны живут на Репинке и что Митас — его друг. О Митасе я уже был наслышан, как и о Козле, Барабуле, Цыганке (все прозвища от фамилий) — авторитетах неблагополучной молодёжи тех лет. Славка был дерзок и бесстрашен до безумия, и путь его лежал или в оторвы элитных войск, или в тюрьму. Он был приписан к ВДВ, но тюрьма потом оказалась проворнее.

Лет пятнадцать спустя, когда Пескарь возвращался после третьей отсидки через Москву, где я служил, он позвонил, и мы встретились. Это был тридцатилетний старик, сгорбившийся, озирающийся, нет ли поблизости ментов. Он ехал с дамой по переписке в места её жительства в Молдавию. Как он сам выразился, отлёживаться и подыхать. Постоянные избиения, карцеры, чифир и прочее сломили его железный организм, он, действительно, доходил.

А тогда, в конце 1960-х, он не боялся никого и ничего. В его компании мы разобрались со всеми участниками моего избиения, а весной, в том же 9-м классе, попали на учёт в милицию за системное участие в драках. Ставился вопрос об отчислении из школы, одного из нашей компании отчислили, но меня спасла ещё хорошая, хотя уже не отличная, успеваемость. Надо сказать, у Славки был пыливый ум, он прекрасно разбирался в математике,

когда ему случилось угомониться, но семья, точнее, её отсутствие, среда, опять же водка делали своё разрушительное дело. Сколько у нас по России таких Славок пропадает! Уверен, успеет он попасть в армию, она бы его спасла, но... Среди таких пропащих ребят мог бы оказаться и я.

Благодаря моему старшему брату Василию я нашёл в себе силы одумать-ся, хотя это было непросто. Но до окончания школы, которой я в итоге искренне благодарен, задрать меня уже никто не мог.

* * *

Как-то два школьных приятеля пригласили меня третьим записаться в аэроклуб на прыжки. У меня к тому времени уже давно сформировалась и захватила мечта об авиации, и я, конечно, согласился.

Обнаружилась, правда, проблемка — мне не хватало года до разрешённого возраста. Я поступил в школу в 6 лет, и все мои одноклассники в школьные годы были старше меня. Тогда основным документом у нас были приписные свидетельства от военкомата, где кто-то в графе год рождения небрежно написал мне единичку в форме кривой скобки. Я к этой скобке приделал зеркальную с другой стороны и получился вполне достоверный нолик. С ним я и явился в аэроклуб, добавив себе год. Приятели мои медкомиссию не прошли, а я — легко.

Уже потом, на многих других медкомиссиях я осознал, насколько мне повезло с моими родителями и с моим босоногим деревенским детством! С парным молоком, немытыми яблоками, капусткой, морковкой, картошкой с бабкиного огорода. С вечным футболом, хоккеем, городками, лаптой, от которых нас до поздней ночи не могли оторвать окрики взрослых. Повторюсь, что мы, послевоенные пацаны, не слишком набалованные, одетые и сытые, оказались гораздо крепче многих нынешних, ни в чем не бедствующих юношей.

* * *

В детстве и юности у меня были две вселенские мечты, охватившие всецело с увлечённостью, свойственной этой поре: авиация (далее — космос) и море.

Миллионы советских мальчишек после полёта Гагарина мечтали о том же, но моё свойство по жизни было мечтать практически. Уже в 9–10 классах, несмотря на проблемы с поведением, я имел ряд взрослых спортивных разрядов. Категорически не пил и не курил, хотя мои друзья употребляли уже вовсю. Слава Пескарь относился к этому с пониманием, а кроме него, брата Каштана да Саши Суркова подтрунивать надо мной в 10-м классе было уже некому.

Удар по мечте об авиации и космосе ждал меня в военкомате. Документы для военного училища не стали оформлять: 16 лет, а в лётные училища после школы принимают только с 17.

Я написал три письма на имя министра обороны Гречко, ответа не получил, но вызвали в военкомат и не очень вежливо посоветовали больше не писать.

Это был тяжёлый удар — год, который нужно было ждать, казался вечностью. Ждать я не стал, обида, злость на кажущуюся несправедливость, грубые слова чёрствых людей, юношеский максимализм подтолкнули меня к варианту два: море.

У меня всегда была физическая, осязаемая тяга к полосе прибоя, к морской дали. Может, оттого, что родился я на берегу моря, да ещё в шторм, но, скорее, от какого-то подсознательного стимула, от каких-то предков, влиявших на меня через поколения.

То, что я задумал и предпринял, может вызвать и улыбку, и осуждение, или вращение пальцем у виска. Решение о море, точнее, об океане, не было случайным, хотя и, отчасти, вынужденным. Я с детства перечитал в федосьинской библиотеке все возможные собрания сочинений о приключениях, о первопроходцах, о море, а где-то с 9-го класса стал покупать в Коломне журнал “Катера и яхты”.

Этот журнал совершил переворот в моём сознании. В нём были сведения уже не о выдуманных героях, а о мечтателях-практиках, чьи авантурные подвиги захватили меня всерьёз и надолго. К окончанию школы, благодаря этому журналу, я уже сносно ориентировался в такелаже, рангоуте, обводах, понимал принципы применения секстанта, склонений, широты и долготы.

Меня восхищали одиночные кругосветные плавания Джошуа Слокама, Френсиса Чичестера и других яхтсменов, но мне, сельскому мальчишке, даже о примитивном швертботе приходилось только мечтать. Ситуация поменял переход на надувной лодке через Атлантику Алена Бомбара, а потом, в 1966 году впервые в истории Джон Риджуэй и Чарльз Блайт на вёслах, на плоскодонной лодочке “Инглиш Роуз” пересекают Атлантику! Они повернули утопию и нереальные мечты во вполне осязаемую практическую плоскость: так можно!

Повторить Риджуэя я бы не смог, выходить в Атлантику было непросто: или Питер, который я знал, или Мурманск с ледяным Баренцевым морем. По Питеру я слышал и читал, как моментально отлавливали заплывавших далеко горе-рыбаков. По Мурманску я уже соображал, что шутить с Баренцевым морем нельзя.

Да и почему я должен был повторять кого-то? Ведь на востоке колыбался великий Тихий океан, ещё никем не покорённый в одиночку на вёслах! Огромная береговая линия, более простая, как мне представлялось, ситуация в портах, более тёплые моря и благоприятное тёплое течение Куроисио...

Поскольку отказ в поступлении в лётное училище был бесповоротным, и надо было ждать ещё год, я принял решение где-то сразу после выпускного вечера в школе. Пошёл работать на завод учеником токаря, время поджигало, надо было успеть отойти до ноября. Родители мои никогда не требовали от меня каких-то денег или отчётов по ним, наоборот, ещё и помогали, и я смог всё почти полностью откладывать. Да и от подарков бездетной родной тётки, которая раньше жила с мужем на севере, в Воркуте, и любила меня, как своего сына, уже сложилась немалая по тем временам сумма.

Билет до Владивостока в плацкарте стоил 48 рублей, цены на лодки, как я проверял в Коломене на берегу Москвы-реки у владельцев, были в пределах 100 рублей. Допоборудование, снаряжение, питание и т. д. — всё это к августу я уже смог бы купить. С отцом на его горбатом “Запорожце” смотался навестить тётку Милу в чудесный город Запорожье, где она уже жила, вернувшись из Воркуты. Пообщался со знакомыми местными пацанами, результатом чего стала покупка за 25 рублей старенького парабеллума, он же “Люгер”, с 18-ю патронами.

Официальная для родителей версия отъезда во Владивосток была близка к истине: “за туманом”. Родители, дай Бог здоровья маме и Царство Небесное отцу, держали нас с братом в строгости, но, когда мы подросли, никогда не понукали нас своим видением устройства жизни и не препятствовали нашей свободе принятия решений. Я же, по сути, уже с 9-го класса был самостоятелен.

Ещё летом, без колебаний, со мной согласился ехать Слава Пескарь и проявил осторожный интерес к моей аванюре мой лучший друг на берегах Коломенки Саша Сурков с прилепившейся к нему на всю жизнь кличкой Санчо. Так я и буду его дальше называть. Только они двое знали о моих планах.

Ближе к практическому решению — покупке билетов и окончанию шуток — Санчо мне честно сказал, что он женится, что он дал слово, а слово надо держать. Я согласился, знал, что это правда, и понимал друга. Санчо был старше меня на два года и уже учился в институте. Он дал мне на удачу трёхкопеечную монету. Я её сберёг и пронёс через всю жизнь, через десятки стран, она цела и лежит до сих пор среди самых дорогих для меня вещей.

Слава же Пескарь в очередной раз загремел на 15 суток, а до этого по эпизодам участия в систематических драках с него взяли подписку о невыезде. Ему катил уже реальный срок, куда он и угодил осенью. Я приехал попрощаться с ним на работы “сучошников” по очистке улицы. Он с несколькими хулиганами и алкашами изобразил что-то мётлами и граблями. Сержант разрешил нам поговорить, и я первый и последний раз у железного, безбашенного Славы увидел на глазах слёзы: “Прости, братишка, подвёл я тебя...” Ему очень хотелось в мою мечту, но откладывать я уже не мог. Мы обнялись. Я в жизни помню осязаемо, руками, как сейчас, два объятия: железные мышцы

Славкиной спины и, тридцать лет спустя, холодную спину отца, когда мы с ним прощались на станции Коломна. Я убывал надолго в Штаты, и отец прошептал мне, чтобы мать не слышала: “Больше не увидимся”.

* * *

Девять суток поездом по Транссибу от Москвы до Владивостока: меняется природа, меняется климат, меняются люди. Россию нельзя узнать, не проехав по самой длинной в мире “железке”. Обязательно в плацкартном вагоне. И — лучше в молодости. Тогда я был один. Позже я ещё несколько раз делал это с друзьями, отправляясь на планету Сибирь. Разные попутчики возникали ниоткуда и куда-то уходили, мистическая дорога рождала и забирала их. Они спрашивали, рассказывали, угощали. В нашем вагоне не задерживались хулиганы, блатные и проч. И ещё: с нами ехали лучшие в мире российские девчонки.

Но тогда я был один. Не доезжая получаса до Владика, поезд остановился на станции Угольная, где мне надо было бы выходить. Дальше начиналась погранзона и билет у меня был только до Угольной. Девчонки-проводницы после обсуждения посоветовали ехать до конечной, ревизоры, мол, недавно были.

Но ревизоры, как им и надо быть, оказались непредсказуемы. Штраф в десять рублей с копейками был полбеды: меня они решили сдать на вокзал в милицию за въезд в погранзону без разрешения.

Заступился за меня молчаливый попутчик, мужик, подсевший где-то за Байкалом. Что уж он им сказал, не знаю, только они отстали. Слово за слово, оказалось, что он геолог, ехал в отпуск домой. А когда я выдал ему свою версию, что, мол, на заработки, предложил пойти рабочим в геологическую партию в Сихоте-Алинь. Пришлось немного раскрыться, что только на море, мечтал о море. Видимо, произошло это у меня убедительно, потому, что он написал мне перед выходом из поезда записку к своему другу, работавшему в порту Владика. Так я попал на списанную плавбазу “Николай Гоголь” и соляной причал.

Плавбазу должны были перегонять на металллом в Японию, а пока в ней было общежитие грузчиков, то есть докеров, в том числе с соляного причала.

Описывать публику и нравы этого кубрика надо отдельно. В первый же вечер непонятого возраста мужики вознамерились выяснить содержимое моего брезентового саквояжа. Они нашли бы там, кроме блокнотика со стихами, много интересного, причём не только для них. Но мне повезло ещё раз. Сиплый, пропитый и прокуренный голос: “Не трожь пацана!” — прервал начавшийся не в мою пользу спор.

Это был дядя Вася, хохол из Винницы, отсидевший восемь лет из десяти. Под метр девяносто ростом, рыжий, с лапами-граблями потомственного крестьянина.

Узнал я его имя и прочее позже, поскольку он, не продолжая разговора, забрался на верхнюю койку наискосок от меня и заснул. Но непонятные мужики, а это были, как мне потом сказали, блатные, от меня отстали, пообещав и мне, и дяде Васе неприятности в будущем, что потом и вышло. Я называл потом своего спасителя дядя Вася, хотя ему было всего около тридцати, но в мои годы такая разница казалась огромной.

На соляном причале я проработал около двух недель: берёшь мешок, деревянной лопатой насыпаешь его доверху солью, затем зашиваешь суровой ниткой с помощью огромной иголки. Потом тащишь на себе этот мешок, а весить он должен был примерно 50 килограммов, так вот, тащишь на себе метров триста до деревянного поддона портового крана. За всё это полагалось 36 копеек, и доставались эти копейки, ох, как непросто! После 5–7 ходок меня уже шатало. Заработать три рубля в день было нормально. Хотя такие, как дядя Вася, делали за день ходок по 20, но потом в кубрике тоже падали на матрасы без простыней и наволочек. Они нам не полагались.

Дядя Вася не только защитил меня от портовых блатных, но сыграл огромную роль в моей жизни совершенно в другом качестве: он играл на гитаре и пел старые эстрадные, а чаще блатные и зековские песни.

Как у него это выходило и как это в нём совмещалось — было удивительно и необычно. У него на ручищах пальцы были размером с сардельку, как он

ими прижимал струны — уму непостижимо. А пел он на удивление душевным, тембровым баритоном, что-то похожее на Круга, тогда только родившегося. От него-то уже через неделю я и воспринял те самые знаменитые три аккорда, ставшие частью моей жизни.

Аккордов потом стало больше, научился играть и перебором, и разные виды гитарного аккомпанеента, но в основе всего был дядя Вася и его три аккорда. А ещё, напиваясь, он тихо пел, уже без гитары, протяжные украинские песни, которые через него я также полюбил на всю жизнь.

Что мне надо было узнать, я потихонечку узнавал, и вывод был грустный: из Владика выйти в открытое море на вёсельной шлюпке — нереально. Среди моих соседей, поломанных судьбой или собственной бесхребетностью, в основном, оказались нормальные мужики. Был даже бывший офицер-подводник. Он-то мне и порассказал вперемежку с пьяными слезами, что даже “карась не проскочит”. Примерно то же было и в недалёкой Находке. Посидев над картой, помучавшись в сомнениях, я поменял план. По всему выходило, что самым спокойным местом для начала моей эпопеи был Николаевск-на-Амуре. У этого варианта было много преимуществ, но и большой минус: время. О местной зиме и зимних историях мне уже порассказали.

Я получил первую посылку и хотел уже прощаться с дядей Васей, как события вечера накануне отъезда в Хабаровск заставили меня поторопиться.

К дяде Васе пришли люди, видимо, из его прошлой жизни, а может, от тех блатных, которых он из-за меня шуганул. Пятеро крепких мужиков в надрывных кепках грубо растолкали работяг в проходе, подошли к моему защитнику и начался тяжёлый разговор. Из него я половину не понимал, кроме того, что моего дядю Васю сейчас будут бить и бить серьёзно. Школа колумбовской шпаны сказала, а я вылез с мнением, что так не по-пацански: пятеро на одного. Моё красноречивое обращение к трюмным соседям, что, мол, нашего хотят бить, возымело действие обратное: народ стал исчезать в полумраке огромного кубрика. Тогда я встал рядом с дядей Васей, а удивлённые бугаи обратились к одному из них, явно старшему: “С этим-то что делать?” Старший был колоритен: в наколках, шрамы, тяжёлый взгляд. Было очень не по себе, но я его взгляд выдержал. Тогда он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: “Обоих, но мальчика по голове и яйцам не бить”.

Не помогли ни два года самбо, ни колумбовский уличный опыт. И не был рядом Славки Пескаря, дравшегося в одиночку против пятерых. Единственно, я не упал, вцепившись в стойку железной кровати, чего не удалось дяде Васе. Я видел краем глаз, из которых лились слёзы (удары в солнечное и по печени тоже не сахар), что дядю Васю закатали сапожищами и он, похоже, потерял сознание.

По кубрику пронеслось: “Милиция!” — видимо, кто-то вызвал. Всех сдуло с матом и последними угрозами. Я бросился к дяде Васе, но он, выплёвывая зубы, с жесткой непримиримостью прохрипел: “Беги, там запасной, заметут тебя!” Я пытался поднять его, но он оттолкнул, и матерное повторение его команды вернуло меня в реальность. Я был без документов, с непонятными вещами и с оружием.

Через час, обняв савояж, я уже сидел в электричке в сторону Уссурийска. А спустя сутки прибыл в Хабаровск. Карьера докера для меня закончилась. В электричке и в поезде, помню, много думал, переживал. Избитое тело болело, но больше болела душа от несправедливости, нескладности и невозвратности жизни.

Где он сейчас, дядя Вася, драгоценный мой хохол, жив ли? Скорее, нет. А если жив, как он там, в своей, в нашей больной Украине, куда он так хотел вернуться? В поезде я не только страдал, но и переосмыслил стратегию своего предприятия. Был вопрос, которого я втайне боялся, гнал его, договаривался сам с собой, что его нет, но он, конечно, был: справлюсь ли я?

Но взглянувшее сюда бабье лето, большой красивый город, романтика новых мест закрасили в душе моей владивостокские переживания. Хабаровск меня порадовал: ни военных кораблей, ни патрулей на берегу, а с берега — ширь, простор, как в Константинове, в осенних местах.

Хабаровский вариант откладывал недели на две основную практическую часть моей авантюры. Подсознательно это меня радовало. К тому же, в течение десяти дней, которые я отводил на путь по Амуру до устья, я мог проверить лодку, снаряжение и себя самого. Всё это радовало, расстраивала лишь

надвигающаяся зима. В Амурской лиман я попал уже в октябре, а в это время, судя по описаниям, мог быть уже и снег. Но с погодой, как и, наверное, с многим другим, мне пока везло.

В Хабаровске стояла золотая осень, и я, побродяжив по городу, нашёл в стороне от центральной набережной пологий спуск к реке. Здесь обретались десятки лодочек и катерков, стояли самодельные гаражи-реллинги, не спеша передвигалась и переговаривалась рыбацкая братва. Довольно быстро я нашёл плоскодонку с двумя закрытыми банками, но пришлось расстаться с 200 рублей — цены были явно выше подмосковных. Зато хозяин на пару дней разрешил попользоваться его сарайчиком на берегу, что было очень кстати: мои приготовления могли кого-то насторожить.

Набор вещей в спортивных магазинах Хабаровска, как и везде по Союзу, не особенно отличался от такого же в Коломне. Особенно порадовали пенопластовые доски для занятий плаванием, на них должна была основываться плавучесть и непотопляемость моей лодки. У нас они стоили 3 рубля, в Хабаровске — 3-20.

Набегавшись днём и уснув прямо в лодке, наутро я занялся оборудованием своей шестиметровой красавицы. Нужно было обеспечить дополнительную плавучесть, загерметизировать банки, купить продукты, канистры для воды и много других мелочей: спасательный жилет, леер по борту, страховочные фалы, рыболовные снасти, сухой спирт, аптечку и т. д. Список я готовил ещё дома, а в саквояже, кроме денег, “Люгера” и бытовых мелочей, был школьный секстант и томик таблиц с магнитными склонениями, купленный в “Транспортной книге” у метро “Лермонтовская” в Москве.

На третий день хозяин сарайчика заглянул ко мне и застал мои приготовления. На моё счастье, они у него вызвали не какие-то подозрения, а беззлобную насмешку над москвичами. В глазах дальневосточников и сибиряков я везде проходил как москвич, хотя и был из Подмосковья. Моя всегдашняя байка, что я рыбак и отправляюсь порыбачить, совпала с его наблюдениями над приезжими городскими: всего накупят, а рыбу поймать не могут. Со временем я согласился, что он был прав. Ещё от него я первый раз услышал поговорку: “Хороший ты парень, но москвич”.

Эти три дня, наверное, были самыми счастливыми в моём предприятии. Будоражили ощущения удачи, порога чего-то неизведанного. У меня всё получалось, я осязаемо заходил в свою мечту о дальних странствиях и неограниченной свободе, имя которой в нашем языке — воля. Только ты, Мироздание и Бог.

Есть мнение, что такие ключевые слова для понимания нашей души, как воля и совесть, отсутствуют в других известных языках. Я с этим соглашусь, но не в целях кого-то принизить или показать свою исключительность. Разумеется, нельзя считать, что мы совестливы, а другие бессовестны. Не в этом содержание нашего понимания слова “совесть” — это лишь оттенок. Просто это некая данность, понятная нам и тем, кто нас понимает и хочет понять. Так, многочисленные аналоги в английском языке слова “совесть” не вполне соответствуют тому, что вкладываем мы в это понятие. Я спрашивал об этом неоднократно у людей двуязычных, и они не сразу, но со мной соглашались. Так же и со словом “воля”. Суть этого слова я начал ощущать тогда и прочувствовал потом, общаясь с сибиряками. Отвлёкся.

Первый щелчок по носу я получил в утро отплытия. До берегового уреза было метров тридцать, сарайчики ставились выше из-за паводка. Но даже на довольно крутом травянистом спуске сдвинуть лодку я не смог. А ведь читал Робинзона Крузо... В отличие от него, я находился в стране замечательных людей, чья отзывчивость и бескорыстность позже, на просторах Сибири, очаруют меня навсегда.

Десятилетия спустя их назовут совками. Продажные мрази, не обладавшие их достоинством и качествами, будут глумиться над их жизнью и бытом, но пока что мне даже не пришлось никого просить. Два рыбака, увидевшие мои потуги, подошли, и через пару минут нос моей красавицы был уже в воде. Я запрыгнул в лодку: “Ну, что — готов? — Готов! — Давай, ни хвоста тебе, ни чешуи”... И я отправился реализовывать одну из самых больших, но красивых глупостей своей жизни.

Путь до Николаевска-на-Амуре занял не 10 дней, как я планировал, а две недели. Пришло осознание хрупкости моего бытия в утлой лодчонке даже на волнах Амура. Никто меня не остановил. Десятки, наверное, раз меня в разной

форме, от “всё в порядке?” до доброжелательного мата спрашивали, не надо ли помочь? С Амура началась моя любовь к планете Сибирь и к людям, её населяющим. Замучили сырость и невысыпание: спал я, как и планировал, на воде в лодке, но полноценным этот сон не был. То волна ударит, то какое-то судно загудит, то просто страх и тоска одиночества разбудят среди ночи в какой-то глухой протоке после Комсомольска.

Ночь на правом берегу напротив Николаевска-на-Амуре я почти не спал. Под утро свойственные юности непокорное упрямство и дурь возобладали над рассуждениями разума. Измученный, грязный, не выспавшийся, я отправился в Амурский лиман. Погода соответствовала: низкая облачность, морось и приличная зыбь. Тем не менее, это помогало мне оставаться незамеченным. Здесь я уже отчётливо понимал, что шутки не только с природой, но и с законом закончились, я становился полноценным нарушителем государственной границы.

Хочу оговориться по этой теме, дабы кто-то случайный среди вас не усмотрел в моей наивной, глупой, но прекрасной юношеской мечте попытку сбежать от “проклятого режима” в “светлый мир настоящей свободы”. Это не так. Говорю это не для оправдания и, тем более, не из боязни. Я и тогда ничего особо не боялся, а теперь и подавно. Свои страхи я оставил в трёх южных странах. Говорю правды ради, к которой стремился, пусть и не всегда удачно, всю жизнь.

Так вот, я был смышлёным, начитанным, подвергавшим окружающий мир сомнению, но убеждённым советским парнем, комсомольцем, как и подавляющее большинство послевоенной ребятни. Да, мы могли ругать ту действительность, рассказывать анекдоты про генсека, доставать самиздат, отвызывать в злостной хулиганке, но при возникновении грозных обстоятельств, все мы встретились бы в очереди у райвоенкомата. И не по повестке, пришли бы сами.

Тогда я понимал, что в случае успеха моего предприятия Куроиси вынесет меня к берегам Канады или США. Но Родина, узнав о моём подвиге, о том, что комсомолец Миша впервые на вёслах переплыл Тихий океан, поймёт меня и простит мне такую шалость, как пересечение государственной границы. Кстати, в числе идей, бурливших тогда в моей голове и попадавших в записные книжки, была отмена на договорных условиях всех границ, инициатором которой, как я полагал, должна выступить моя страна.

Отношение у нас, послевоенной ребятни, к американцам было снисходительно-пренебрежительное. Мы в общих чертах знали, что эти суки (а как ещё по-другому?) три года ждали за океаном, когда мы с немцами перебеём друг друга, и только в конце войны присосались к нашим отцам и дедам – победителям фашизма. Нас никто не учил, когда мы горланили: “Американец, засунул в ж... палец и вытащил оттуда...”, ну, и так далее, моё поколение помнит. Я верил в реальность анекдота подвыпившего деда Кузьмы, когда американец хвастает перед нашим солдатиком своим небоскрёбом, а тот чешет репу и говорит: “Трудно будет оттуда рояль вытаскивать...” И мы верили: наш вытащит, хотя рояль ни ему, ни нам на... был не нужен.

Несколькими годами позже я, отец и дед Кузьма сидели у черно-белого телевизора “Рекорд” и смотрели начало матча суперсерии по хоккею: наши и американцы. Стали перед началом матча показывать фото наших ребят и... мы с отцом обомлели. Американские фотографы поймали их в самых неудобных ракурсах и позах: то рот открыт, то физиономия скособочена, то глаз закрыт и т. д. Это было мелкое, пакостное фотоиздевательство. Мы с отцом завозмущались, как так можно, ведь мы же в гостях у них, мы – гости! А дед Кузьма хрипло подвёл итог: “Засранцы!”

Вот под этим термином, не самым нежным, народ великой Америки запечатался в моём сознании ещё на долгие годы, пока я не попал туда по службе. Лучшими пропагандистами в информационной войне являются чужие или свои дураки.

* * *

Меня выручало, а скорее, вело к гибели прибрежное течение, которое явно сносило меня по курсу на пролив Невельского. Его скалы я увидел, по-моему, на третий день.

Выход в Татарский пролив был отмечен первыми белыми мухами, шквалистым ветром и короткой, хаотичной волной. Она превратила греблю и поддержание курса в мучение. Лодку стабильно заливало, от холода спасало только движение.

На сон я проваливался в забытьё, пока не понимал, что тону, и надо было выливать ведром воду. Особенно жуткими становились ночи без звёзд, неба и воды — кругом мрак и хаос. Несколько раз видел вдаль огни кораблей, они радовали несказанно, становилось легче, но несколько сигнальных ракет, купленных ещё в Запорожье, я не трогал. Что это было, упрямство или воля, надежда на лучшее, трудно сказать. Это была юность, вечная беспредельщина и неслух, прощание с которой, тем не менее, всегда грустно.

На приём пищи стал разжёвывать концентраты: зажечь и использовать сухой спирт, как я это делал на Амуре, было нереально. Амурская вода, которую я залил в канистры, не доходя до Николаевска, стала пахнуть. Постепенно приходило жёсткое осознание непоправимой беды. Течение сносило лодку на юг, но собственного движения почти не было: лодку швыряло, весла то тонули, то лопатили воздух. И даже если бы я принял решение спастись и идти к берегу, то вряд ли дошёл бы. До него уже было несколько десятков километров. Надежда оставалась на прибрежное течение и тёплые воды Японского моря.

Наверное, на пятый день я ощутил, что поднялась температура. По телу пошли волдыри, которые от солёной воды жутко чесались. Становилось всё хуже, и, думаю, мне оставались часы до ночи, её бы я не пережил. Господь решил по-другому. Как в уже широком и почти безлюдном штормовом проливе, на меня вышло это суденышко, объяснить можно только одним словом: Бог.

Я увидел их уже недалеко, и они явно доворачивали в сторону моей лодочки. На этот случай у меня был алгоритм действий, продуманный заранее. Понятно было, что кто бы ни подобрал — моряки, пограничники, рыбаки, — эпопея заканчивалась. Меня бы никто не отпустил поплавать дальше в открытом море.

В пластиковом пакете с петлёй у меня были “Люгер”, патроны к нему и секстант — самые неприятные для меня, в случае задержания, предметы. Я свесил пакет за борт и теперь, чтобы от него избавиться, мне достаточно было приподнять из уключины весло. Что я и сделал, когда ржавый борт судёнышка оказался уже рядом, а намерения бородатых мужиков были очевидны: меня будут спасать. Я поднял весло, и “Люгер” с компанией ушли на дно.

Меня вытащили на борт и уже в каюте, когда начали стаскивать с меня ворох мокрой одежды, настойчиво предложили выпить из кружки. Деваться мне было некуда, я выпил. Похоже, это был спирт.

Очнулся я в той же каюте, и молодой матросик, обрадовавшись моему пробуждению, побежал куда-то. Пришёл бородач, наверное, капитан, а матросик принёс чай с гигантским бутербродом. Капитан участливо стал расспрашивать. Я, еле ворочая языком после выпитого, отлегендировался: “Амур, рыбалка, снесло, мало что помню, заболел”.

Из слов капитана, что занесло меня за семь тысяч километров, я понял, что паспорт мой они уже посмотрели. А по моей лодке он успокоил: “Не волнуйся, мы её тащим на буксире”. Я поблагодарил, подумав, что лучше бы этот буксир оборвался.

Выглядел я, наверное, плохо, поэтому к вечеру того же дня от причала, как я услышал, Советской Гавани, меня забрал медицинский автобусик на шасси ГАЗ-51. Меня одели в то что дал, а мешок с моими вещами отдал суровому медбрату. Сказали, что лодку получу потом, надо соблюсти некие формальности. Попрошались тепло, но без сантиментов. Всеми чувствовалась какая-то недосказанность происшествия; лодку они, видимо, тоже осмотрели. Я увидел её последний раз из окна автобуса: полузатопленную, с одним веслом, но выдержавшую свою долю.

Мне повезло в этот вечер трижды. Был вечер субботы, и сведения обо мне и официальное общение со мной были отнесены на понедельник. Те, кто подобрал меня, были, как я понял, рыбацкая бригада, и к странному спасённому они отнеслись спокойнее, чем если бы это были пограничники. А третья удача заступила на дежурство в восемь вечера. Это была маленькая, сухонькая старушечка-врач, говорившая на знакомом мне с детства старопитерском языке моего деда Николая.

Началось с того, что с подачи, видимо, принимавшей меня медсестры, учувшей запах, меня обвинили в том, что ещё было у меня впереди, — в пьянстве.

— Ну, что, оболтус, опростоволосились? Назюзились и в море потянуло?

— Да я вообще не пью! Это на катере мне моряки дали!

Моё возмущение было искренним, и она поверила. Да это так и было, не пил я совсем, в космос готовился.

— Ну-ну, верю, любезнейший, не кипятитесь, — примирительно сказала она.

С этого маленького мостика пошло налаживание отношений, видимо, спасших меня.

Когда она меня осматривала, опрашивала, обстукивала, я задал вопрос, ставший для меня судьбоносным: “Вы из Ленинграда?”

— Я, милейший, из Санкт-Петербурга, но вы меня не поймёте. А откуда вы, голубчик, так пронизательны?

И тут я, отходивший от спирта, от болезни, от ужаса стоявшей недавно рядом со мной Курносой, стал говорить. О деде Николае, о бабушке Людмиле — смолянке, о питерском детстве.

Разговор вышел уже за пределы дежурного осмотра, но я в палате был один, и как я потом понял, и в больничке-то было всего несколько человек. Дальневосточники — народ крепкий. Особенно её зацепило упоминание о Смольном, я видел это по тону, как она переспросила. Я и сейчас прекрасно помню лицо её в сетке морщинок, которое вместе с моей болтовнёй ушло куда-то, видимо, в такую же питерскую юность моих бабушки и деда. Это была моя первая вербовка нужного человека. Она была искренней, как и всё, что творишь в юности, но краем сознания я отчётливо понимал, что ключ от выхода из моего тогдашнего положения находится у этой бабульки. И не ошибся.

Проспал я почти до обеда воскресенья, но завтрак мне принесли, потом пришла и бабуля. Ни температуры, ничего иного, кроме запредельной энергии, у меня уже не было. Мне было велено через час хорошо пообедать, что я и сделал не просто хорошо, а очень хорошо, благо в добавке мне не отказали.

Сразу после обеда опять пришла бабулька, а с ней какая-то здоровенная тётка, тоже в белом халате, но с наколками на руках. В одной из них она легко держала большой узел из простыни и всем видом выказывала почтение, если не трепет, к бабульке — врачу.

— Ну, вот, милейший Мишенька, жить вы будете долго и интересно.

Далее бабуля сухо и методично перечислила мне, что делать, а чего не делать: как идти на автобус до Ванино, где поезд, поглядывать на вокзалах, не слоняться, не озирается, не спать там, где не спят нормальные люди, сидеть с кем-то рядом, а не одному и т. д. Всего и не помню, но это был серьёзный инструктаж знающего человека. Нечто подобное я слушал потом на лекциях в совершенно других стенах.

— Завтра за вами, любезнейший, кум придёт, а вам этого не надо. Грех, конечно, но книгу выбросьте. Ступайте, Машенька вас проводит, — закончила она.

После этой фразы я понял, что не просто так бабулька покинула берега Невы. Я поблагодарил и, наверное, слишком поспешно пошёл за Машенькой. От двери обернулся: бабулька смотрела куда-то далеко-далеко мимо меня, думаю, туда, где за Сихотэ-Алинем, за Байкалом, за Уралом был Старый Невский и другой мир, утраченный навеки.

Такой она и запомнилась мне на всю мою жизнь: маленькая, тщедушная, но не сломленная российскими бурями женщина, рисковавшая ради меня остатком своей более-менее налаженной старости.

Машенька, которая была в несколько раз меня старше и толще, вывела меня коридором в какую-то подсобку, развязала простыню и скомандовала: “Одевайся!” Там была моя одежда, выстиранная и высушенная, брезентовый саквояж, в котором Машенька специально ткнула пальцем в пакет с паспортом и оставшимися деньгами. Из этой же каморки она открыла мне дверь на свободу, сказав так же жёстко: “Если что — ты сбежал. Доктора не подведи. Авань, пронесёт”.

И тебе, Машенька, низкий поклон через годы. Нет уже, наверняка, в живых ни тебя, ни доктора, но от матери моей, от бабулек моих, от этих доктора и Машеньки на всю жизнь я приютил в сердце осознанную, не показушную

любюв к русской женщине. Не к красоте её, — а они у нас самые красивые, не отнимешь, — а к чему-то особенному, не требующему ничего взамен, не лукавому и не просящему. Они, женщины, ближе к Богу, чем мы.

Я добирался до Хабаровска неделю. Благословление бабульки-доктора берегло меня. Уже в поезде увидел в саквояже среди моих бытовых мелочей томик с таблицами магнитного склонения, ту самую книгу, которую имела в виду доктор. На перегоне из тамбура выбросил её в тайгу.

И тогда, в поезде, и позже думал о том, почему они меня спасли. Они — это не только бабулька и Машенька. Уверен, мужики на катере тоже всё поняли и “забыли” потом намеренно обо мне и моих данных. Ведь, наверняка, жизнь моя с понедельника, с визита следователя, пошла бы наперекосяк. А так — я потом неоднократно проходил проверки по первой форме, был допущен до государственных секретов особой важности, находился на высоких государственных должностях и — ничто не всплыло.

Не повлияло, кстати, и то, что часть семьи моего деда Николая, его брат и сестры оказались после 1917-го за границей и жили в Германии, Франции, а кто-то ещё и в Канаде. Ну, в этом случае, я знал, что Комитет в мои годы при изучении родственных связей уже не принимал во внимание в качестве негатива родственников первой волны эмиграции, если не сохранились контакты. Дед Николай, правда, изредка переписывался с сестрой из Германии, пока та не умерла.

Так вот, думаю, дело в спорной для кого-то, но давней и упрямой традиции нашего народа не закладывать ближнего власти. Не сдавать ближнего власти, ибо власть, чаще всего, несправедлива. Так нас воспитали.

Власть и деньги (близнецы-братья) зачастую притягивают к себе худшее из человеческого общества. Ведь суть власти, в какой бы форме она ни проявлялась, аморальна: это насилие одного человека над другим, себе подобным. И кому-то очень везёт, если, пробравшись по змеиным ходам и не потеряв себя, к власти приходят люди моральные, справедливые, не лукавые. Чаще — обратное. Хоть и говорят, что власть от Бога, но чаще она от Лукавого. Однако я снова отвлекся.

Ещё через неделю я вышел из электрички на станции Коломна, пошёл пешком к 24-му автобусу и пил глазами купола церквей, порушенные кремлёвские стены святого для меня города. Я вернулся другим человеком. Наивная, прекрасная и глупая юность потерялась где-то в Татарском проливе.

* * *

В записной книжке того времени нашёл фразу: юность прошла, юность осталась. Да, так, но это была уже другая юность. Нужно было судьбе очень жёстко хлопнуть меня по заднице, чтобы в большей мере включились голова, рассудок, чтобы стал замечать и понимать рядом реальную жизнь и реальных людей.

Глядя на современную юность, я её во многом понимаю, как мне кажется. Я понимаю желание уйти в мир иллюзий, где всё по-честному: враг — враг, друг — друг. Юность не любит полутонов, но из них, в сущности, и соткана реальная жизнь.

Я понимаю “руферов”, “зацеперов” и прочих отвязанных пацанов. Это в крови многих начинающих жить мужчин — ответить себе и людям: кто ты, человек или *тварь дрожащая*? Взрослым дядям и тётям надо крепко подумать, чтобы корректно, ненавязчиво, а может, и наоборот, намеренно управлять этой сумасшедшей энергетикой юности, создавать ей реальный, разумный выход, дающий настоящие риски и испытания, однако не ведущие к фатальному исходу. Такую возможность даёт армия, которой я низко кланяюсь за себя, любимого, но это — с 18-ти. А пацаны гибнут раньше. И, уверен, не худшие пацаны...

В Союзе нами занимались. Не идеально, чего и не бывает, но постоянно и системно. Начать с того, что я, несостоявшийся великий мореплаватель, без раздумий вернулся сразу работать на завод. По-другому и не мыслилось. И я и общество были настроены так: закончил школу — работай, и лучше — на производстве.

И это была уже другая, суровая, но честная школа настоящей жизни с проблемами, матом, водкой, но ощущением причастности к Делу.

Меня сразу обступили комсомол, профком, завком, пристроили, учытивая мои “таланты”, к цеховой стенгазете, в оперотряд, вожатым к пионерам соседней школы. Мне, правда, это и самому было надо – зарабатывать хорошую характеристику для поступления в военное училище.

За неполный год я сделал блестящую карьеру: до ухода в военное училище поднялся со второго до четвёртого (из шести) разряда токаря-инструментальщика. Я не иронизирую, и рабочий класс – есть. Люди, своим трудом создающие материальные ценности на серьёзном производстве, имеют свои особенные черты. Да, они разные и, как и все социальные группы в народе, несут на себе его веснушки и бородавки. Но, по закону больших чисел, главное, что они не стяжатели. Хотя и ценят честно заработанную копейку. Они проще и справедливее смотрят на окружающий мир и объясняют его.

Да, дядя Витя, мой наставник, токарь от Бога, подходил ко мне: “Мишка, нарисуй мне заявление на отпуск”.

– Дядя Вить, ты чего?!

– Да мне проще смену за станком отстоять, чем писать всякую х...

И этот дядя Витя, как мне потом рассказывали, мужичок невзрачный и на вид скорее хлипкий, сгрёб меня, окровавленного и потерявшего сознание, в охапку и побежал со мной в другой цех в медпункт. Орал матом на потерявшуюся в курилке фельдшерницу и стоял под дверью, пока меня не забрала “скорая”.

Он ведь говорил мне до этого: “Смотри, бойся “тарелку!” Как в воду глядел. “Тарелка” – алмазный круг для доводки резца, две тысячи оборотов в минуту. Я небрежно держал резец, его закрутило и выкинуло мне в голову, хорошо – плашмя. Обошлось, но крови тогда много потерял.

Как говорил мне с другом Колей годы спустя мой инструктор, офицер-рязанец, показывая на наши ушибленные головы: “Там же кость”. А ещё он говорил, глядя на нас с Колей после марш-броска: “Вам за одни ваши рожи можно смело давать по пять лет! Никто и сомневаться не будет”. Нет его уже давно, погиб в Анголе. Так погиб, что даже тело вывезти не смогли. Жене выгребли из тумбочки личные вещи и отправили пакетик. На Родину.

Я вернулся в аэроклуб и раз, а то и два раза в неделю прыгал. С замиранием души глядел на взлетавшие и садившиеся рядом учебные Як-18. Теперь мне можно было поступать в лётное, и я готовился серьёзно, планово, без романтических придыханий и расслабленности. Нужна была рекомендация – я стал активным членом бюро комсомола. Потом, на долгие годы, и в училище, и в Центре, и далее – стенгазеты, боевые листки, многоотражачки стали полем моей околоспортивной деятельности. Писал легко и много всякую хрень: о достижениях, недостатках, видах на светлое будущее и т. п. А наедине писал для себя стихи, отдельные из которых стали складываться в песни, и я брэнчал их на гитаре по коломенским общежитиям и подъездам.

По весне, в первый отпуск, который мне, молодому, полагался летом, но меня попросили пораньше, я поехал опять к тётке на Украину, в Запорожье. Там, на Зелёном Яру, после возвращения из Воркуты, у неё с дядей был свой дом, старый сад и очарование изумительных, ароматных, большезвёздных украинских ночей.

Где вы теперь, друзья мои запорожские: философ-работяга Коля Крапивка, красавчик и бабник Валера Столяров, битломан Стасик Серединский, девочка Лиля...

Помню, пацаны и девчата в шутку называли меня москалём. Вот и дошлись... Тогда я ещё ничего не знал о масштабной операции Запада по внедрению бандеровского подполья во властные структуры Украины и о роли в этом лысого любителя вышиванок, подарившего им Крым.

У меня, как я говорил, есть украинские корни по матери, дед был наполовину украинец, причём там была интеллигенция в нескольких поколениях. Были в родне такие знаменитые фамилии, как Кошевые, Кочубей. В современной родне по той линии – известная киевская профессура, но называть фамилию не буду, для них рискованно. Дожили...

Я так думаю, что во мне течёт гораздо больше древней киевской крови, о которой некоторые так пекутся, чем в целом в той разномастной руководящей ныне бандеровской мрази, одурачившей (пока) добрый, талантливый и податливый народ.

И то, что произошло, — иезуитски предательский разлом единого народа — это вторая по космической трагичности драма нашего народа после гибели Союза.

Прекрасно понимаю и знаю корни действующих лиц и цели затаившихся за границами и океаном “цивилизованных”, “добренских” и вроде бы не вполне причастных к событиям кукловодов. Подсунутая ими “икона” — Бандера, — кстати, никогда не жил на Украине и ни с какой стороны никогда не был украинцем. “Её величество” ложь — в основе их мира и в основе этой трагедии. Ну, да это уже отдельная тема.

* * *

Наступало решающее для меня лето, и судьба мне подготовила не то сви́нью, не то счастливый билет. Часто по жизни не сразу в этом разберёшься. Эта свинья или билет обреталась в райвоенкомате, куда я захаживал уже как свой. Там у меня появились знакомые в лице старенького подполковника и сверхсрочника-сержанта, которые знали, что я готовлюсь и подаю документы в Качинское училище лётчиков.

Вызвали меня повесткой, и, прождав час в очереди, попадаю я к военкому, довольно молодому розовощёкому полковнику.

Не глядя на меня, он, с употреблением мата, нарубил несколько фраз: “В Качу тебя не примут, там конкурс из детей генералов, а ты — кто? Есть новая тема: вертолёт, пойдёшь в вертолётное училище. Не захочешь — в стройбат, там тоже люди нужны. Иди, забирай документы, всё переделывай, тебе укажут”.

Я уже тогда понимал, что если кто-то что-то мне предлагает, то этому кому-то от меня что-то нужно. И — отказался. На мою попытку что-то объяснить полковник поднял, наконец, на меня глаза: “Ты чо, ты не понял?! Пошёл!..”

Знакомый сержант в приёмной уже держал участливо мою тоненькую папку. Я отказался что-либо переделывать и переписывать и сказал, что пойду писать письмо министру обороны маршалу Гречко.

— Передать?

— Так и передай!

Писать не стал, не писалось, да и опыт таких писем уже был. И не успел бы я его отправить, меня на второй или третий день опять вызвали в военкомат.

На этот раз попал я уже не к военкому. Меня в своём закутке принял тот самый старенький подполковник, которого я уже знал, и он меня привечал.

В те годы такие вот офицеры-фронтовики дослуживали на полубоюственных началах в военкоматах, при военных училищах, в ДОСААФовских структурах. У него одна рука, левая, не двигалась сама, а висела сухая и жёлтая, и он, когда садился, другой, здоровой рукой помогал её уложить на стол.

Познакомился я с ним в коридоре, сказав, что у моего деда Кузьмы такие же нашивки за ранения: три красных и две жёлтых. Они были на дедовой гимнастёрке в мои совсем ранние годы, а потом вместе с гимнастёркой развалились на куски от времени и стирки. Подполковник с той поры меня узнавал, здоровался, расспрашивал. Очень одобрял занятия в аэроклубе и приветствовал желание поступать в Качу. К сожалению, обращение моё к нему было “товарищ подполковник”, ни имени его, ни фамилии я так и не узнал. Меня он называл “боец”. Вот к нему-то на беседу меня и вызвали.

— Садись, внучек, знаю твою беду..

И пошёл разговор, совершенно неожиданно, про Вьетнам, точнее, про войну во Вьетнаме. Я следил за ней по газетам, переживал, как и все, за вьетнамцев, но то, что нарисовал мне старичок-подполковник, увиделось совсем по-другому.

Да, я читал, я видел фото в газетах и по телевизору у деда, но значение этого свершившегося тогда факта донёс до меня подполковник. Вертолёты стали неотъемлемой и архиперспективной частью современной сухопутной войны.

— Мы вертолёты уже делаем, — говорил подполковник, — хотя и похуже пока, отстаём. У их “Ирокеза” моторесурс раз в пять больше, чем у нашего МИ-1. А лётчиков на них нет вообще. Сейчас переучили с горем пополам

летунов-истребителей с двадцать первых “МИГов”, палкой загоняли. Теперь вот создали по Союзу сеть училищ, будет первый набор. Твоё будет в Подмоскowie, в лесах под Шатурой и Егорьевском. Вот мы и набираем толковых и крепких ребят по Подмоскowie. Первым выпуском будете. — И, видя мои сомнения, забил в них последний гвоздь, положив при этом свою искалеченную руку правой, здоровой рукой на мою ладонь, лежавшую на столе: — Родине надо, внучек.

Я, как и подавляющее большинство моих сверстников, был комсомольцем, и для меня интересы страны, народа были неоспоримо выше всего. И я согласился.

С этого момента большая часть моей непростой жизни прошла под сенью этого слова: “Надо”.

* * *

Где-то в то же время, весной, состоялась ещё одна встреча, навсегда запавшая мне в память. Мои родители привезли в Андреевское на своём горбате “Запорожце” деда Николая, приехавшего на пару дней в Федосьино посмотреть, как живёт дочь. Ему было уже далеко за 80, а Кузьме — около 70-ти. Заочно они знали друг друга, прежде всего, думаю, по моим рассказам.

Вокруг этой встречи с самого начала была какая-то мистическая недосказанность. Я удивлялся: “Какие проблемы?” А мама сомневалась: “Они такие разные. Дед Николай чудакватый, не от мира сего, начнёт латынь вставлять... Не пьющий...”

И правда, такие разные были два деда. Дед Николай — питерский дворянин, царский офицер, интеллигент с институтом, академией и несколькими языками, и дед Кузьма — крестьянин с 4-мя классами Андреевской церковно-приходской школы.

Кузьма, помню, узнав заранее о приезде деда Николая, выпрашивал меня, как-то вроде бы нехотя, но с явным вниманием. Не стал ёрничать по поводу пяти языков, а мог бы. Он с презрением относился к формальной учёности, подтрунивал над “профессорами-академиками”. Помню его анекдот о профессоре-лекторе, которому крестьяне задают вопрос: “Почему у коровы — лепёшка, а у овцы — шарики?” — Тот в недоумении. — “А чего же ты, если даже в говне не разбираешься, приехал нас учить?”

Годы спустя приехал я к деду Кузьме с красным университетским дипломом, похвастаться. На что он сказал с ехидцей лишь одно слово: “Мудёр!”

Бабушка Мария Ивановна суетилась: “Такой гость, чем встречать!” Кузьма советовал: “Водки поставь!”

— Так не пьёт же, вон Мишка-то говорит.

— Ты — поставь. Колька-то с Васькой узнают о недопитой, прибегут мать проведать.

Приехали. Выбрался дед Николай из “Запорожца”, как из кареты, сухощавый, подтянутый, с лобастой лысой головой, в стареньком, но отутюженном костюме и при галстукe. С порога комплимент бабушке Марии Ивановне: слышан, мол, был, что русская красавица, а воочию и сравнения меркнут... Бабка не знает, куда деваться, Кузьма ухмыляется.

А ведь и правда, красавица была моя бабка в молодости, отец в неё пошёл. И дрался молодой Кузьма за неё с лукерьянскими парнями, и бит был нещадно, с его же слов, и умыкнул всё же её из соседнего Лукерьино. И фамилия у неё была — Ивушкина.

А вот на сетования бабки, что домишко, мол, плохой, дед Николай серьёзно отпарировал: дом — это Дом, это святое. Счастье, когда есть дом.

Сели за стол, отец открывает водку, бабушка пододвигает деду Николаю рюмку, но встречает Кузьма: “Он не пьёт. И я не буду!”

Поковырялись в нехитрых закусках, которые дед Николай расхваливал, а бабушка розовела.

Дед Кузьма, сидевший рядом с дедом Николаем, что-то сказал ему, тот закивал, и они встали.

— Мы на речку, прогуляемся.

Бабушка заохала, что не всё ещё подано, но деда уже выходили. Дед Николай пятился, рассыпаясь в благодарностях перед “обожаемой” Марьей Ивановной, я было попытался за ними, но отец осадил: “Сиди!”

Не было их часа два, уже вечерело и холодало. Женщины начали волноваться. Отец с сожалением иногда поглядывал на бутылку — нельзя, за рулём. Я тогда на заводе с работягами уже употреблял с получки и аванса, но дома шифровался, да и особенно не тянуло меня к этому.

Гоняли чай, наконец, пришли и деды. Оба были какие-то хмурые, мать с бабушкой зашептались: не поругались ли? Пошли к “Запорожцу”, надо было ехать на поезд. Отец сел за руль, авто затарахтело. Дед Николай на этот раз молча поклонился всем, всем пожал руку. Кузьма подошёл последним. Деды взяли друг друга за руку и... обнялись. Я такое с дедом Кузьмой увидел впервые, потом такое — только ещё раз — с бурятом. Не сентиментален был Кузьма.

Мать с бабушкой заплакали. Все поняли то, что понимали они, два старых искалеченных, но не сломленных войнами и бедами старика: они расставались навсегда.

Не права была мама, общего у них было гораздо больше. Они прожили и пережили страшный XX век. Они вернулись со своих войн, на которые оба пошли добровольцами. Они выжили. Они спасли свои семьи, подняли нас, мелких.

А ещё вокруг была одетая вечерним сумраком, странная, мистическая страна. И — весна, закрасившая ранней зеленью апрельскую грязь и завивавшая майские черёмуховые кружева по берегам тихони — Коломенки.

Мне потом подумалось, что в Андреевском последний раз побывал осколочек далёкого имперского Петербурга и ушедшей навсегда эпохи. До этого кто-то наезжал, наверное, к ещё живым андреевским помещикам, но дед Николай точно был последним. Может, и дед Кузьма, и бабушка, заставшие ещё ту эпоху, тоже ощущали эту встречу и это расставанье как восточку из тех времён. Не знаю.

* * *

С вертолётным училищем, как оказалось, складывалось всё не так просто. Я его буду так называть, хотя у него было длинное название: Учебный авиационный центр по подготовке пилотов вертолёта. Училище — удобнее, да и не будет путаться с другим Центром, куда я попал позже.

Ребят сначала резали нещадно на медкомиссии. Была попытка придраться и ко мне. Лежу я на кардиограмме, получаю удовольствие, молодая женщина-врач хмурится: пульс 50. Пошла за опытной тётёй, та пришла с “беломориной”, наверное, войну в медсанбатах прошла, спрашивает меня хрипло: “Деревенский?” А у меня в те поры румянец был во всю щёку, которого я стеснялся, а девочки дразнили “Сеньор Помидор”. “Да”, — говорю. “Ничего — просто парень здоровый”, — диагностирует меня “беломорина”.

В том же коридоре увидел я крепкого беленького паренька со слезами на глазах: зарубили. Оказалось, что по дури, с его слов, только хотел наколоть на руке имя, но одумался, осталась только крохотная чёрточка. Врачи увидели — сразу в сторону. Такие были требования. Вот вам и тату...

С этого момента я как-то начал проникаться уважением к той стезе, которую мне за меня выбрали. Потом это чувство переросло в любовь к вертушкам и вертолётной братве, а позже — в досаду и грусть. Ни о чём и ни о ком в жизни не жалею, кроме одного: что оставил авиацию. Всё-таки это была серьёзная любовь, любовь к небу. Чуть-чуть было не лишился я тогда своего короткого пребывания в славной семье лётчиков.

Сажу в очереди таких же ребят у кабинета военкома в ожидании мандатной комиссии. После неё — ты уже почти курсант. Проходят фамилии на “А”, потом моя буква прошла, начинаю удивляться. Спрашиваю знакомого сержанта-сверхсрочника: с чего бы это? Он, бегающий туда-сюда с нашими папочками, делает загадочный вид: у тебя проблема, жди. Вот тут-то я и осознал по старой человеческой традиции, когда морковку вдруг отбирают, что хочу быть вертолётчиком.

Как это так? Меня, умного, с кучей разрядов, парашютиста, кровь с молоком и... какие могут быть проблемы?!

Где-то в середине очереди, не по списку, сержант выкрикивает меня. Захожу, за столом два ряда людей в форме и гражданских, по центру — тот самый розовощёкий полковник.

– Иди ближе!

Подхожу, в руках у него моё приписное свидетельство. Он трясёт им, и я понимаю: вот он, тот самый проклятый нолик.

– Документы подделываешь... (мат). В Качу он, видите ли, хотел... (мат). Министру (мат) писал! Какие будут мнения?

Я ничего уже толком не вижу, наверное, слёзы навернулись, слышу, кто-то говорит: “Надо бы расспросить”. Полковник прерывает: “Это же статья, статья! Пошёл вон!”

И я пошёл, толком ничего не видя и не соображая. Всё, отлетался.

В конце коридора цапанул меня за плечо сержант: “Не уходи, велено всё равно сидеть”. Возвращаюсь, сажусь с края очереди с парой ещё таких же побитых собак, которым было велено ждать.

Вызвали меня последним. Полковник был насупившимся и уже не орал.

– Будешь ещё документы подделывать?

Чувствую на себе десятка два строгих и внимательных глаз умудрённых жизнью людей.

– Не буду, слово даю.

– Иди, будешь летать.

Я сдержал своё слово. Правда, потом, годы спустя, по службе, были такие обстоятельства, что что-то приходилось подделывать, и это у меня неплохо получалось. Но это были уже другие обстоятельства, другая история: так было надо.

Сержант рассказал мне потом, как было дело. Заступился за меня тот самый дедок – подполковник с пятью нашивками. Он рассказал, что друг у него был, года ему не хватало. Подделал он документы и ушёл в 41-м в ополчение. Так там и остался в братской могиле под Можайском. Зачем, спрашивается, этот паренёк приписное подделал? Что, какую-то поблажку, льготу себе искал? Пошёл прыгать с парашютом, там тоже жизнью рискуют. Парень правильный, дед у него герой-фронтовик, надо оставить. Где-то так.

Поддержал дедка-подполковника мужик из горкома партии, да ещё полковнику за мат взрезал, тот и притих.

* * *

Учили нас в училище по-серьёзному. Немало ребят отсеялось ещё на курсе теории, до начала полётов. В увольнениях, уже в училище, я продолжал прыгать в аэроклубе. Потом, с началом лётной практики, мы стали прыгать уже по программе училища, и я перестал посещать аэроклуб. Думал, временно, оказалось – навсегда. Низкий поклон тебе, Коломенский аэроклуб и славное село Коробчеево. Сейчас там другие люди, другие машины, другое снаряжение. Прыгает там и моя племянка Светка. Дерзкая, молодая, красивая, в общем, наша. Разменяла уже четвёртую сотню прыжков, обогнала давно дядю. Так и должно быть. Солнышка и несильного ветерка вам, ребята.

А тогда был месяц февраль, была солнечная морозная погода, был ещё не ощущаемый, но уже проникающий в душу аромат наступающей весны.

Заметной частью той парашютной тусовки были ребята и девочки из Коломенского пединститута, как правило, первого, второго курса. Потом, видимо, остепенялись.

А одним из выпускающих инструкторов тогда был Ренат, фамилию не помню; помню, что татарская. Суровый, неразговорчивый мужик, несколько тысяч прыжков, мастер спорта, в общем, авторитет. Слушались его беспрекословно, и была у него традиция: всем новичкам перед первым прыжком давать пинка. Делал он это перед выходом из люка и пинок был неслабый, есть личное впечатление. Традиция, я потом узнал, не только его, с ней борются, не вписывается она в чёткие правила, которые иной раз писались чьими-то жизнями. Начальство аэроклуба тогда тоже ворчал, но с безопасностью у Рената всегда было всё в порядке. Руководители полётов брюзжали, Ренат пинал, но никаких ЧП в мою бытность не было.

Солнышко греет, топчемся на старте, Ренат проверяет укладки, а в моей группе две новенькие девушки из Педа: рыженькая пухленькая и высокая серьёзная брюнетка с грустным милым личиком. Рыжая не скрывает, что трусит, болтает от страха без умолку, высокая молчит. Конечно, все знают, что

Ренат новеньким будет давать пинка, и слышу, что рыжая у него на эту тему интересуется. Ренат сурово отвечает: “Больно не будет”. Уговорить Рената не давать пинка – дело зряшное, даст. Все знали, и я, конечно.

Вдруг подходит ко мне эта высокая и вежливо:

– Молодой человек, вы этого дядю знаете?

– Ну, да, – говорю, – конечно.

– Можно его вам попросить не делать мне... этого...

Я наглею и говорю, хотя и не верю в перспективу: “Скажете, как зовут, попрошу”. Она снимает перчатку и протягивает мне ладошку: “Саша”. Я обомлел и от этого нетипичного жеста, и от того, что знакомство так легко состоялось. Тогда я ещё, как и многие пацаны, побаивался знакомиться, да и уличные нравы моей компании не очень это одобряли.

Чувствую, как заливает меня тёплой волной, забыл назвать своё имя и – к Ренату. Что-то, наверное, было у меня в глазах, в дрожащем голосе, только Ренат после паузы и тяжёлого взгляда, который я выдержал, совершенно неожиданно согласился: “Ты давно прыгаешь, ладно, не буду”.

Перед каждым прыжком – страшно, врут те, кто говорят, что не боятся, или с психикой у них проблемы. Для меня в тот прыжок всё было абсолютно до фени: и посадка в “Аннушку”, и рёв двигателя, и скрипы старенького корпуса, и воздушные ямы, и самый противный, гнусавый сигнал на выброску.

Меня, как бывалого, Ренат определил замыкающим, передо мной была Саша, затем какой-то мой приятель по прыжкам, за ним – рыжая и ещё кто-то, всего человек 9-10.

Ренат открыл люк, в кабине захохотало, захлопало и – пошли ребята в ревущую бездну. С визгом и пинком вылетела рыжая, грамотно вышел мой приятель, пошла в люк Саша... И... Ренат всей пятернёй врезал ей по обтянутой шерстяным трико восемнадцатилетней попке.

Я был вне себя – практически, уже моя девушка и к ней такое отношение! Пролетая в люк мимо Рената, я заорал: “Ренат, сука!” Вылетел впопыхах неудачно, не сгруппировался, меня перевернуло, и я на секунду увидел между своих валенок хвост “Аннушки”, открытый люк, а в нём Ренат с разведёнными руками и застывшим удивлением: “Как же так, я же не дал пинка?!”

Купол рвануло и... божественная тишина. Цепочкой тянутся купола, внизу – Коробчеево, недалеко – Ока, а вдали – Коломна. Вижу чуть ниже ближайший её купол, подальше – слышу – рыжая визжит от счастья, начинаю тянуть стропы, чтобы приземлиться поближе. Вдруг, замечаю, ещё ниже летит, кувыркаясь, валенок! Смотрю: точно, её!

Нам на прыжки выдавали валенки с тесёмочками, их затягивали выше колена или цепляли к чему-то на одежде. Войлок изнашивался, и они нередко после динамического удара спадали с ног.

Какая удача! Стал тянуть стропы к валенку и приземлился практически рядом с ним, родимым. Быстро погасил купол, сбросил на него подвесную. А Сашу лёгкий ветерок ещё тащил по февральской насту. Я обнял валенок и побежал с ним навстречу своей первой настоящей любви.

Мы возвращались на старт, опьянённые полётом под куполом и роскошью нового человеческого общения. Как будто мы знали друг друга все наши восемнадцать лет. Её счастливую рыжую подружку мы тоже захватили, но я не ощущал веса трёх парашютных сумок.

На старте я подошёл к Ренату извиняться. Он хмуро бросил: “Бывает. Не говори мне так больше”. А я готов был его обнять и весь мир в невыразимом восторге радости жить.

* * *

Наступили 1970-е. По-моему, это были лучшие годы в жизни великой страны. Зарубцевались, затянулись более-менее страшные раны страшной войны. Всё чаще уходили в вечность её солдаты, шли новые поколения, шла новая, безбедная и, по большому счёту, счастливая жизнь.

Дед Кузьма, который никогда никому и ничему не кланялся, говорил: “Чаво уж там... Лучше становится жить”.

Предложили ему, как инвалиду войны 1-й группы, “Запорожец”. Бесплатно, но надо было ехать в Коломну, оформлять кучу бумажек. Кузьма отказался. Сын его, мой дядя Вася, пилил:

– Дурак ты, отец, щас бы ездили на машине.

Дед Кузьма недобро сверкал единственным глазом:

– Я что, за эту таратайку воевал?

У нас в училище, в парткабинете, где проводились одни из самых заурядных для курсантов занятия, висела карта мира. На ней красным цветом были обозначены социалистические страны, розовым – страны социалистической ориентации и коричневым – страны капитализма. Так вот, большая, подавляющая часть мира была окрашена в красно-розовый цвет. И мы не напыщенно, без оглядок на замполита (хороший, кстати, был мужик, спас меня и моего друга Женьку Морозова от больших проблем) гордились этим. Мы многое тогда уже понимали, без тени опасливости обсуждали, но были патриотами своей страны. А обсуждать было что, и память народу никогда ничем не отшибёшь. Приведу только один факт из рассказа деда Кузьмы.

Во второй половине тридцатых, где-то в 1937-1938-м, пошла новая волна по искоренению кулаков как класса. Дед в Андреевском был основным активист, избач, как он сам себя называл. А сельская власть, Совет, находился в Лукерьино, в трёх километрах ниже по Коломенке. Председателем сельсовета был трудяга – мужик с многодетной семьёй, дед очень хорошо о нём отзывался, называл и фамилию, я не запомнил, к сожалению.

Вызвал как-то председатель деда и говорит: пришла из Коломны на нас разнарядка. Лукерьино должно дать список из 12-ти кулаков, Андреевское – из 8-ми. Кузьма, а был он тогда не дед, было ему лет за 30, возмутился:

– Нет в Андреевском кулаков, середняки все, село работающее, батраков не держим.

И не дал никакого списка. Совестливый был мужик, этот председатель, неизвестно, как он поступил по Лукерьину, но по Андреевскому ничего в Коломну не дал. Не было, действительно, в Андреевском кулаков, да и Кузьма был ему другом.

Через пару месяцев забрали председателя под крики и слёзы вместе с многочисленными домочадцами, и сгинули они из коломенских мест навсегда. А из Андреевского так никого и не взяли, и Кузьма уцелел. Сбой, видно, дала машина, натолкнувшись на чистую человеческую душу. Царство тебе небесное, Председатель.

Многое мы уже знали, многое понимали. Но я, и не только я, был убеждённым комсомольцем, а потом и молодым коммунистом. За других говорить не буду, а о моём понимании значения той идеологии кратко выскажусь.

Во-первых, идеология социальной справедливости всегда была, есть и будет привлекательна для живущих на Земле. И не зря кодекс строителя коммунизма был так похож на Нагорную проповедь и евангельские идеи Христа.

Второе: ещё пацаном я пытался осмыслить окружающий мир, его устройство, историю, механизмы образования власти. Я понимал, что развитие человечества неизбежно объединит его под одной крышей. И хотел, чтобы эту крышу создала моя страна. И та идеология, при всех издержках её реализации, которые я видел и понимал, тем не менее, как нельзя лучше подходила для этой цели. Ведь, действительно, в семидесятые мы влияли на большую часть мира. Мы хозяйничали в космосе, мы были по всему миру, без нас не решался ни один серьёзный вопрос, если Громыко говорил “нет”. Наши темпы экономического роста тогда реально обходили Запад, а наша армия реально была самой сильной в мире.

У нас в училище строевую подготовку вёл старшина-сверхсрочник, хохол по фамилии Шип. Он орал на плацу во время занятий: “А ну, засранцы, печатать шаг! Печатать так, чтобы в Америке услышали!”

И мы долбили кирзовыми сапогами плац, как и миллионы таких же пацанов на просторах Союза и за его пределами. В Америке слышали.

Одним из самых выдающихся свершений Союза, на мой взгляд, было достижение стратегического военного паритета с США и западным блоком. Это был фантастический рывок в истории человечества в целом. Как наши отцы и деды смогли измученную, обескровленную, разрушенную страну за такой короткий срок уравнивать с США, которые двести лет существовали в тепличных условиях, без войн, паразитировали на всём, на чём только можно, в том числе и на чужих войнах, – уму непостижимо!

Услышали они нас, а куда деваться? Они прожжённые прагматики, и — появилась “разрядка”. Это политическое явление было безусловной победой Союза, но любая победа чего-то стоит, когда пользуются её результатами. Взять город и не знать дальше, что с ним делать, — это не победа.

Из возникшего паритета американцы и Запад сделали выводы, мы — нет. Мы продолжали эксплуатировать экономическую и политическую модель, чрезвычайно эффективную в условиях войны, но неприемлемую в новых общественно-исторических условиях.

Не мы, кстати, её монополисты. В гораздо более спокойных условиях во время войны Черчилль перевёл экономику в государственное управление, расстреливал и вешал врагов Британии, а США, будучи вообще в комфортных условиях во время войны, загнали в концлагеря японцев — своих граждан. Высадись вермахт на побережье США, и успешно продвигался бы он в сторону Вашингтона — они бы и не таких дров наломали.

Так вот, Запад разработал и запустил целый ряд стратегических и тактических новаций в эпоху “разрядки”, мы же почивали в тоге победителей. Западу оставалось только терпеливо ждать. И — дождались. Афган и рождение больной уже системой “лидера” — трусливого, недалёкого и сребролюбивого Горбачёва. Конечно, не в нём одном была проблема. Но исторический шанс мы потеряли в эпоху “разрядки”, оставшись “победителями” и не сделав стратегическую коррекцию развития великой страны.

Серьёзные испытания в обозримой исторической ретроспективе приходят в Россию с интервалом в 2-3 поколения. Сейчас США и Запад, “победители”, такие же, как и мы в эпоху “разрядки”, прохлопали Путина и возвращение России в статус мировой державы. Они взбешены, они делают выводы, они формируют новые стратегические и тактические подходы в борьбе против нас.

Мне очень хотелось бы ошибиться, но у меня нет устойчивого ощущения, что мы, как надо было в эпоху “разрядки”, делаем необходимые выводы и перестали радоваться, что “Крым наш”. Против нас начата война, но не “холодная”, с её довольно примитивными уже раскладами: у кого чего больше и толще. Новая, высокотехнологичная, проходящая по умам и душам людей в новом, по-новому взбаламученном мире XXI века. Мы понимаем это? Мы делаем выводы? Мы формируем новую стратегию и тактику? Не уверен, особенно это касается экономики.

* * *

Пили все или почти все. Особенно это было беспределно до выхода в 1978 году постановления партии и правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Опомнились.

У нас в училище в увольнениях это было само собой разумеющимся. Из увольнения везли с собой лимоны, самый популярный был фрукт. Перед медосмотром в понедельник, когда врач утром мерил давление, съедалось 2-3 лимона в зависимости от выпитого накануне. Врачиха смотрела подозрительно, но 120 на 80, куда деваться! Здоровье у всех было бешеное. Пили и офицеры-инструктора. Пил и Герой Советского Союза, генерал-майор Соколов, полагая, что мы, салаги, делать этого не умеем, а потому — всё в порядке. Это ему внушал тоже пьющий замполит.

Был у меня на эту тему реальный эпизод из серии “и смех, и грех”.

Я в нашей учебной эскадрилье вылетел самостоятельно первым, было это 22 июня 1970 года. Храню, как реликвию, “боевой листок” с поздравлением в свой адрес и с моим портретом, нарисованным карандашом нашим местным художником Володиёвым Аникиным.

Дня через два происходит ЧП. Опытный МИГ-23 из Жуковского теряет управление и падает в перелесках в районе полётов нашего училища. Лётчик катапультировался, довольно быстро его подобрала местная милиция, и сразу по всем системам пошло оповещение: искать второго пилота. Дело в том, что оглушённый и контуженный после катапультирования лётчик спрашивал: “Где второй?” Имея в виду ведомый самолёт, который шёл с ним в паре и провозжал падающий истребитель до последнего. Руководству училища тут же сообщили. И по рации всем нашим бортам, находившимся в воздухе, была передана команда: искать второго пилота в квадрате таком-то, действовать по

обстоятельствам, докладывать. Несколько вертолётчиков доложили, доложил и я: “Двадцать шестой-пятый, понял, начинаю поиск”.

В горячке первых минут никто не обратил внимания на сказанные мною слова. Дело в том, что первые две цифры обозначали инструктора и учебный экипаж из 6-и человек, а третья цифра была номером курсанта для радиосвязи. То, что кто-то уже начал летать самостоятельно, не учли, а этим “кто-то” и был я, да ещё парень из второй эскадрильи. Но вторая в тот момент не летала.

Дымящуюся воронку в перелеске я увидел почти сразу и прикинул, что в деревушке неподалёку, может, кто-нибудь что-то и видел, а может, как и первого, уже подобрали.

Шёл на двухстах метрах, видно всё как на ладонке: затоптанная белёсая площадь в центре села, полуразрушенная церковь и дом с флагом, как потом и оказалось, сельсовет. У этого домика стоит “козлик”, ГАЗ-69-й, из него выпрыгивает милиционер и начинает махать мне руками. Я сообщаю на КНП, позывной “Перина”: “Я 26-й 5-й, нахожусь там-то, вижу милиционера, у него какая-то информация, прошу посадку”. И опять руководители полётов пропустили мимо ушей третью циферку: “Давай, выясняй!” Делаю “коробочку”, снижаюсь и неплохо сажаю свой МИ-1 прямо по центру площади. Сбрасываю шаг-газ, открываю дверь кабины и машу милиционеру — иди, мол. Милиционер оказался майором, почти на четвереньках подходит к кабине, хотя до несущего винта четыре метра — боязно и непривычно, мало тогда ещё было вертолётчиков.

Сдвигаю набок шлемофон, кричу ему, чего, мол, махал? Он мне в полу-согнутом состоянии отдаёт честь и тоже кричит: “Товарищ лётчик, пока ничего не обнаружено!” Надеваю шлемофон, вызываю “Перину”. Опять: “Я такой-то, спросил майора милиции, пока никого не обнаружено”. Слышу, у “Перины” пауза, микрофон, видимо, закрыли, но какая-то разборка. Потом голос руководителя полётов: “Какой, на хрен, 26-й 5-й, ты откуда, ты где?” Докладываю: “Работал в зоне такой-то, получил команду и подтверждение от КНП, ищу второго лётчика, а сейчас сижу на площади в селе Кривондырово.

— Слушай, ты... 26-й 5-й, срочно глуши двигатель, будь рядом с машиной и готовь задницу, за тобой приедут.

Обиделся я на “Перину” жестоко, но виду не подал. Глушу двигатель, вылезая, говорю майору, что приказано мне быть здесь у них для связи.

— Разрешите дальше действовать? — спрашивает майор.

— Разрешаю!

Я-то пацан, 18 лет, но знаков различия на мне нет. Синий комбинезон с кучей карманов, особенно шикарно выглядели накладные карманы на боковой стороне брюк. Я ещё для форса шлемофон снимать не стал и ларингофоны на шее оставил — космос! Первый парень на деревне.

Из сельсовета к нам бежит сидевший в засаде рыжий веснушчатый мужик в телогрейке — председатель.

Ох! Ах! Как же, звонили, наслышаны! Майор ему типа: обогрей товарища лётчика, накорми, чтобы волос не упал, и укатил на своём “козле”. Пока я шёл в сельсовет, поддерживаемый под руку председателем, майор, как стало ясно позже, сообщил своему начальству, что лётчик жив, здоров (и это была правда), находится в селе Кривондырово. Ему бы поподробнее, или лучше вообще ничего не говорить...

Только зашли в сельсовет, на столе у председателя звонит телефон. Тот хватает трубку:

— Да, да! У нас лётчик! Как чувствуете?

— Как вы себя чувствуете?

— Как двадцать лет назад!

— Хорошо, хорошо себя чувствует, приезжайте.

В дверях кабинета председателя уже стоит местная Матрёна Марковна: “Закусить чего-нибудь пожелаете?” Председатель тут же дублирует.

— Было бы что, — говорю. Злость меня грызла на “Перину” за несправедливое отношение, мат и перевод стрелок на меня.

— А можно? — чувствую в голосе председателя страх, что нельзя.

— Отчего же, — говорю, — задание выполнено, вертолёт мой технари приедут забирать.

Пока председатель куда-то бросился бежать, вижу в окно: у вертолѐта собралась толпа, и пацаны начинают его щупать. А в толпе-то и девчонки. Бывали у меня в жизни ситуации, когда чувствовал себя полубогом, вот это была одна из них. Выхожу на крыльцо в комбинезоне, шлемофоне, ларингах на шее и – тишина. Только кто-то пару раз “ой!” сказал.

– Комсомольцы есть? – спрашиваю.

Два паренька и две девушки боязливо тянут руки. Девчонки – классные, деревенские, кровь с молоком.

– Поручаю вам охрану машины, если что не так – я там, у руководства, – показываю на дверь сельсовета. – Мелюзга может смотреть, но ничего не трогать!

Уже спиной слышу команды комсомольцев, где кому встать и кому надо отвалить.

Председатель, добрейший был дядька, сидел уже с открытой “Пшеничной” за 3–12, а письменный стол прямо поверх каких-то бумаг был заставлен тарелками. . .

Пока мои, как я предполагал, до меня добирались, прошло около часа. Мы с председателем “Пшеничную” и уговорили. За авиацию, за сельское хозяйство, за недавно родившегося у него внука, вообще за хороших людей, которые не орут матом, не разобравшись. Входит Матрёна Марковна:

– Товарищ лѐтчик, к вам офицер.

– Запускай, – говорю. Вижу, и правда, целый подполковник, но не из наших, петлички красные, общеармейские. А за ним – двое в халатах – санитары. Так и так, говорит, приказ везти вас в Егорьевск, в госпиталь.

Обнимаюсь с председателем, выходим, у порога стоит медицинская “буханка”, “уазик”. Ко мне бросаются комсомольцы: как быть, куда бежать?

– Продолжайте, – говорю, – охранять, скоро приедут такие же, но с голубыми петлицами, вот им и сдадите объект.

Подполковник в “уазике” – сама любезность, побольше бы таких в армии. Пока ехали по просѐлочным колдобинам, а я лежал на носилках, осмотрел меня, общупал, послушал.

– Как хорошо, – говорит, – что мы вас нашли, и у вас всё в порядке!

Выехали на асфальт, и я уже сел как человек.

– Извините, – говорю, – немножко с председателем принял. . .

– Что вы, что вы, – участливо прерывает подполковник, – в вашем положении это даже полезно, стресс снять.

– Вот-вот, – говорю, – стресс снимал.

– А я бы и сам, – говорит подполковник, – на радостях соточку бы принял.

– Так в чём дело?

– Думаете?

– Ну, за нашу победу! . .

В “уазике”, конечно, было. Это был настоящий медицинский “УАЗ”.

В госпиталь я попал уже хороший. И – тоже, милейшие люди, теперь полковник медицинской службы осматривал.

Короче, уже по рюмочке, второй – коньячку.

Где-то в это время мои и чужие уже разобрались, что никакого второго лѐтчика не было, а был второй самолѐт. И был курсант-одиночка, который тоже пытался того второго пилота найти и которого родная милиция и приняла за объект поиска и растрезвонила по инстанциям.

Через час заходит ко мне в палату Гена Колесников, мой лѐтчик-инструктор, бывший истребитель и будущий неоднократный чемпион Союза по вертолѐтному спорту.

– Вставай, кукурузник, едем к генералу. Ты, – говорит, – хоть видел, сколько вокруг той площади в Кривондырово проводов? Немерено! Везучий, стервец!

– Видел, – говорю, – так вы же учили, всё, как надо, оценил, аккуратно, ничего не задел.

Честно говоря, проводов я не помнил.

Не стал больше меня журить Колесников. Только спросил:

– Где нажрался?

– По дороге, – говорю, – с председателем, подполковником и полковником.

— А сейчас, — говорит Колесников, — тебе генерал будет.

На подъезде к аэродрому, чувствую, стал раскисать.

На КНП был сам генерал Соколов и офицеры, отмечали хорошо завершившийся день и то, что тот летун, из Жуковского, слава Богу, остался жив.

А до того, как меня доставили, как нам потом передал Женькин инструктор, тоже Евгений, состоялось обсуждение, что со мной делать.

Комэск второй эскадрильи, которого я не любил, а он меня, предложил выгнать. Как это, мол, полетел? А технику бы угробил, сам разбился, людей на земле поккалечил? Кто-то из перестраховщиков поддержал: так и другие начнут куда попало летать.

Вступился за меня комэск первый эскадрильи, не побоялся, честно сказал, что это он накосячил, не услышал, не разобрал в эфире, что был уже не инструктор, а курсант, и дал добро. Подвёл итог дискуссии генерал Соколов:

— Зачем он полетел? Товарища спасать. Точка.

Короче, когда я поднялся по трапу на КНП, там было уже весело, но когда я появился, затихли. Стараясь изо всех сил быть трезвым, доложил:

— Товарищ генерал, курсант такой-то. . .

— Ладно, не переживай. То, что машину среди проводов посадил, молодец! Тоже ведь натерпелся. Дайте ему стопочку. . .

Принимаю я стопочку и чувствую, поплыл. Подхватил меня Колесников с кем-то под руки, чтобы я с трапа не свалился, и уже спиной слышу голос генерала:

— Всё-таки не та нынче молодёжь, мы крепче были. Видишь, как его со ста грамм развезло.

* * *

Как говорил мой незабвенный друг, к несчастью, уже покойный, Костя Фиамский: “Человек здоров, пока он пьёт”. Очень противоречивая мысль, особенно от врача высшей категории, каковым был Костя. А в чём-то жизненная, ведь особенно крепко мы пьём в молодости, когда здоровье, как и жизнь, кажутся безграничными. Похоже, что пьянство, отражённое и в моих стихах, — свойство молодости. Как и глупость.

Как я отношусь к пьянству? Резко негативно. Осознанно негативно. Нет, не заболел пока, повторюсь за Марком Твенном, “не дождётесь”.

Мой дед Николай практически не пил. Когда-то на фронте, как он говорил, “в ситуации”, он мог “оглушить стаканчик”. А так — отдавал водку денщику, что его, кстати, и спасло. Уже на моей памяти дед Николай мог выпить немного сухого вина по какому-то очень серьёзному случаю. Делал это с пониманием, не спеша, выискивая в дешёвых советских винах какие-то памятные ему вкусы и ароматы.

Дед Кузьма мог выпить крепко, любил почему-то портвейны. Но, как говорил Сталин об одном наркоте, знал меру. Я никогда не видел деда пьяным, представить его шатающимся, говорящим непотребности, цепляющим людей, тем более, валяющимся — нереально! Тот случай с бурятом — ни о чём. Один отпахал целый день на жаре, другой — сутки в дороге. Да, выпили, крепко, вечерело уже и — уснули.

Два моих дяди по линии отца — умные, крепкие мужики — ушли из жизни преждевременно — от пьянства.

Если бы не мама, отец тоже мог повторить их судьбу. Не зря она у меня дворянка: маленькая, а характера и воли — на двоих.

Женщины в семье вообще были образцовыми. Мама — если только напёрсток в праздник, бабушка Людмила — так же, а бабушка Мария Ивановна, ну, два-три напёрстка, тоже в праздник или по большому случаю. Умнее они нас-то, женщины.

Я по молодости мог за вечер выпить литр водки и, каюсь, делал это неоднократно. Причины, не оправдываясь, уже называл.

Осознанное понимание того, что пьянство — страшный бич моего народа, пришло не сразу, где-то в конце восьмидесятых, и повлиял на меня замечательный человек, военный журналист, полковник (тогда он был ещё майором) Анатолий Доронин.

А ещё он спас из небытия, конуско, не только он, но он — в первую очередь, — картины удивительного русского художника Константина Васильева.

Мыкались Костины картины по России, в Москве в конце 1980-х километровые очереди стояли, не меньше, чем на Глазунова. Где только не пытались мы их пристроить, в том числе и в Коломне. Все вроде бы всё понимают, а места для десятков удивительных полотен так и не нашли в русских городах. В конце концов, нашли Костины творения достойный приют на их родине — в Татарстане. Будете в Казани, посетите экспозицию, не пожалеете. Это, кстати, о татарах.

Ну, и что лукавить, как и Есенин, как и много других талантов земли нашей, не избежал Костя общения с нею “проклятой”. Погиб он, как и Есенин, при странных обстоятельствах. Я считаю и исхожу в этом из своих знаний, что и тому и другому — помогли.

Как я отношусь к Пазовенникам? С подозрением, как и ко всем тем, кто почитает себя святее Папы Римского. Алкоголь-то, он и в кефире, и в квасе, и в овощах и фруктах. Исключение для меня — женщины, больные и люди религиозные, их позицию я уважаю.

Вино — часть человеческой культуры, частица всемирной цивилизации, часть истории жизни и моего народа. Поэтому бокал вина с хорошим другом, с любимой женщиной, стопка водки с мороза или запотевший бокал пива в жару — для меня всё это приемлемо.

Вместе с алкоголем не надо впускать в себя животное или, не к ночи будь помянут, его, Лукавого, стерегущего наши души за каждым углом непростой жизни. Не сразу, конечно, у меня сложился этот подход. Я долгое время, как и дед Кузьма, делил вино на белое — водка и красное — всё остальное.

* * *

Ощутил я, как надо, вкус вина в своей первой заграничной командировке в Ирак. Первая заграничная командировка — это как первая любовь, как первый прыжок с парашютом — забываема, тем более, в такую страну.

Хотя и шла тогда война Ирака с Ираном, но в Багдаде было чудесно. О войне напоминали только чёрные вдовы в хороших машинах. Саддам на первых порах войны давал вдове офицера “Мерседес”, вдове сержанта — “Фольксваген”. Раз в две-три недели на город из Ирана падал, прорвавшийся через ПВО, наш старенький *Scud*. Воронку заделывали за полчаса, иной раз даже какой-нибудь куст или дерево на это место втыкали. Если ракета попадала в здание, его тут же завешивали и быстро восстанавливали.

Совершенно обыденным было увидеть на улице у дорожного магазина кабриолет, а на сиденье — небрежно брошенную дамскую сумочку. Воровства не было вообще.

Иногда по вечерам, после победных сообщений по радио или TV, многочисленные вооружённые охранники у разных учреждений устраивали праздничную пальбу в воздух. Часовые эти не стояли, а, как правило, сидели, да ещё и столик рядом ставили для кофе и пуфик — ноги положить.

Все, конечно, были с “калашниковыми”; если с тобой “Михаил Тимофеевич”, то ты — человек. Отношение к нам было дружеское, за редким исключением. Поэтому, когда я примелькался, мне пару раз знакомые охранники давали запустить в багдадское небо праздничную очередь. Разгильдяйство, конечно, полное.

Я как-то раз шёл с двумя своими мужиками, прилетевшими из Москвы, в отель. Остановились около знакомого охранника. Вот, говорю, арабский боец на посту. Боец развалился в потрёпанном кресле, ногу на ногу, перед ним — столик, на коленях — АК-47. Не надо было бы так делать, но что-то меня под локоток дёрнуло. Можно, говорю ему, автомат посмотреть. Царским жестом протягивает. А я тогда “калашников” разбираю секунд за 9-10. Что я и сделал прямо у него на столе.

Рэмбо вскочил, чуть не плачет: был он человеком, и был у него автомат, а теперь на столе лежит десяток железок. Собрал я ему АК, чуть помедленнее. И — вот оно, счастье! Как он мне руку тряс! Конечно, мальчишество было, мог я за это и от своих, и от чужих получить, обошлось. А Рэмбо мне, когда я иногда шёл мимо, честь отдавал.

Жил я в высокой гостинице, по-моему, “Хилтон”, где внизу был ресторан с филиппинками, корочке, бордель. Вечером, точнее, уже ночью, под визги, смех и крики их развозили по домам арабы и какие-то европейцы. Для меня это стало удивительно, когда наступил священный месяц Рамадан.

Филиппинок, только теперь уже более глубокой ночью, так же забирали куда-то под визги и хохот. Ничего себе, думаю, пост.

Я любил гулять по Багдаду ранним утром, когда не было ещё жары и народу. Вкусно пахло свежими булками, цветущими кустами, какими-то удивительными восточными запахами из открывающихся лавчонок, и неслись песни — молитвы муэдзинов.

Малина кончилась, когда меня перевели в Басру, где шла уже реальная война с Ираном. Это одно из тех мест, которые с давних пор наши командировочные по миру называют “могила белого человека”. Я всё тогда впитывал, как губка, и начинались разные переосмысления.

Вышел я как-то в первые дни в Басре на бережок реки Шатт-Эль-Араб, образующейся от слияния Тигра и Евфрата. Растут там по берегам лучшие в мире финиковые пальмы, если увидеть на открытке — загляденье! Подошёл я к такой пальме. Ствол — в волосатых наростах, среди них — грязь, песок, какие-то жуки и тараканы ползают. Листья вверху от ветерка скребутся друг о друга, как жёсть, зубам больно. Рядом с ней из песка торчит трава — не трава, какие-то пыльные соломины и колючки. А между ними подняли задницы, глядя на меня, пара скорпионов. Вот тогда вспомнилась мне берёзка, кожа её тёплая и прохладная одновременно, ласковый шёпот пахучей листвы, мурава внизу, на которой можно и нужно поваляться...

Не обошайтесь жизни по открыткам...

В эту же первую командировку уговорил я арабов свозить меня в Вавилон. Выехали рано утром, приехали часам к девяти. Подвели к входу в огромный раскоп. Англичанин-археолог предупреждает: “Не позже десяти выходите, иначе опасно, жара. И почему у вас нет головного убора?”

А я пошёл, очумелый от счастья, бродить по раскопанным улицам великой истории. Любил я историю страстно, хотя претензий к этой возлюбленной накопил уже немало.

Бродил я по раскопкам Вавилона, вспоминал Навуходоносора, Кира, пленённых иудеев, Дария, Александра Македонского... Разыскал развалины Голубых врат богини Иштар. Перерыл около них кучи обломков и — о чудо! Нашёл кусочек изразца с ярко-синей эмалью.

Около двенадцати дня меня повело. Свалился в узенькую тень под разрушенной стеной и фактически потерял сознание от испепеляющей жары, выжигавшей в развалинах всё живое. Чуть отлежался. Добрался к выходу на полусогнутых, облили меня водой, англичанин вежливо поругался, сопроводив меня арабы — невежливо. В кармане у меня лежал небесно-голубой осколок.

Глупость, конечно, запредельная. Каюсь, но желание привезти этот кусочек истории домой было просто патологией. Не принимая во внимание моральный аспект, я рисковал всем, ибо при обнаружении мне грозила “весёлая” (я это уже знал) арабская тюрьма.

Когда через несколько месяцев я улетал из Багдада, утренний рейс задержали. Держали нас в раскалённом, без кондиционирования, без воды аэропорту до вечера. Взлетели, и я попросил у сестрёнки-стюардессы в родном “Аэрофлоте” красного сухого вина и говяжий стейк. Тогда это было в порядке вещей.

Было уже темно, самолёт был полупустой, я сидел один у окна и смотрел на дрожащие внизу зеленоватые огоньки Палестины. Подали вино. Не стал пить, как обычно, залпом, пригубил глоток и ощутил влажное прикосновение разогретого жарой винограда где-то под Бордо. Запах лозы, терпкий вкус косточки, аромат цветущих полей лета. Аромат жизни. Так сама судьба приобщила меня к пониманию музыки хорошего вина.

А в багаже у меня лежал закопанный в нехитрое барахло голубой изразец богини Иштар. Он и сейчас со мной.

(Окончание следует)